

Д.П. Ивинский

**М.М. Херасков
и русская литература
XVIII – начала XIX веков**



Москва • «Р.Валент»

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Д.П. Ивинский

**М.М. Херасков
и русская литература
XVIII – начала XIX веков**

Москва
Р.Валент
2018

УДК 821.161.1+821.162.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)1
И253

Научное издание

*Рекомендовано к печати РИСО филологического факультета
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова*

Рецензенты:

доктор филологических наук, профессор Н.И. Михайлова
доктор филологических наук, профессор В.А. Воропаев

Ивинский Д.П.

М.М. Херасков и русская литература XVIII – начала XIX веков — М.: Р.Валент,
2018. – 216 с.
ISBN 978-5-93439-559-0

Предлагаемая монография представляет собой опыт рассмотрения русского литературного процесса второй половины XVIII – начала XIX в. в связи с литературной деятельностью М.М. Хераскова. Основная цель книги – показать, что именно Херасков сыграл главную роль в русской литературной жизни второй половины XVIII в., обеспечив относительное единство литературного процесса от Ломоносова до Карамзина.

The monograph presents new interpretation of Mikhail Kheraskov's role in Russian literature. We believe that he was the key figure in the literary process of the second half of the XVIIIth century. We show that Kheraskov played a crucial role in uniting different generations of russian writers – from Lomonosov to Karamzin.

Воспроизведение, распространение и доведение до всеобщего сведения данного произведения (полностью или частично) любым способом, в том числе путем перевода в электронные файлы и открытия доступа к таким файлам через телекоммуникационные сети и каналы связи, без договора с правообладателем и издательством запрещается и преследуется в соответствии с 4-й частью Гражданского кодекса РФ и законом №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» с учетом изменений, внесенных законом №364-ФЗ.

ISBN 978-5-93439-559-0

© Ивинский Д.П., 2018
© Оригинал-макет – ООО «Р.Валент», 2018

Оглавление

Предисловие	5
Литературная жизнь	7
Версия Г.А. Гуковского (1)	11
О советской гуманитарной интеллигенции	13
Версия Г.А. Гуковского (2)	18
Сумароков, Шувалов и Панин: версия А.С. Пушкина	38
С.М. Бонди	49
«Поправки» П.Н. Беркова	53
Л.В. Пумпянский	59
Херасков и Сумароков	61
Херасков и его окружение	67
Херасков и Ломоносов	74
«Херасковцы» и Ломоносов	79
С.Н. Глинка о Ломоносове и Сумарокове	84
К вопросу о «синтезе»	87
Майков и его образ истории русской литературы	88
Поповский (1)	91
«Гимн Бороте», Поуп и Московский университет	96
Поповский (2)	108
Сумароков	111
Масонство	114

Сумароков, Ломоносов, Тредиаковский.	120
«Ненавистник» и «Самолюбивый стихотворец».	122
Сумароков, Херасков, «херасковцы» и Н.И. Панин	130
Херасков, его литературная среда и русская литература 1760–1810-х гг. . .	137
Карамзин, Херасков, «Кадм и Гармония».	149
Вместо заключения	193
Литература.	195

Предисловие

В этой книге обсуждается роль Хераскова в литературной жизни второй половины XVIII – начала XIX в., а вместе с тем некоторые особенности русского литературного процесса. Обсуждать эту роль непросто: литературная репутация Хераскова, крупнейшего поэта XVIII столетия, уже в пушкинскую эпоху оказалась руинирована и вытеснена на периферию культурного сознания¹, после чего уже в историко-литературных реконструкциях разного уровня и типа Херасков был заслонен образами других поэтов, прежде всего Сумарокова, которому в конце концов была приписана ключевая роль в литературном процессе второй половины XVIII в. Поэтому, обсуждая Хераскова, мы подробно останавливаемся на некоторых, в том числе частных, эпизодах истории науки, своеобразие которых было во многом обусловлено внешними обстоятельствами – логикой времени и среды их возникновения. При этом мы исходим из того, что из числа немногочисленных опытов реконструкции русского литературного процесса очевидным образом выделяется осуществленный Г.А. Гукковским (1902–1950), одним из крупнейших советских знатоков русской литературы XVIII столетия.

Полный анализ литературной истории этого времени – дело будущего. В нашей книге читатель найдет не детальный анализ литературного процесса, а лишь попытку выстроить общую картину и несколько гипотез, призванных восполнить нехватку твердо установленных фактов. Новых материалов в книге нет: эти гипотезы обсуждаются на основе давно введенных в научный оборот источников, прошедших критическую проверку; наиболее существенными для наших целей

¹ См. об этом: Любжин 2011–2014; ср. электронный вариант на сайте конференции 2014 г. : <http://www.philol.msu.ru/~istlit2014/pdfs/liubzhin.pdf>.

оказались данные истории и генеалогии, а также биографические исследования разных типов. Вместе с тем нас интересовала история литературы, взятая на том уровне обобщения, на котором начинается приближение к представлению о ее единстве и смысле как целого; такую историю литературы мы готовы рассматривать как основу для понимания текстов, созданных теми, кто стремился формировать литературный процесс, связывая его с «последними вопросами».

Предлагаемая здесь версия русского историко-литературного процесса XVIII в. обсуждалась, с разной степенью детализации, в нескольких курсах лекций, общих и специальных, читавшихся нами на филологическом факультете Московского университета, в том числе обзорных курсах истории русской литературы XI–XVIII вв. для романо-германского отделения (1988–2007 гг.) и истории литературы XVIII в. для русского отделения (с 2007 г.), в курсах, посвященных Пушкину, его современникам и предшественникам (с 1988 г.), в курсе по истории русской литературной жизни XVIII – первой половины XIX в. (с 1998 г.), а также в пропедевтическом курсе по истории русской литературы (с 2005 г.). Главы о «Гимне бороде» М.В. Ломоносова и о рецензии Н.М. Карамзина на роман Хераскова «Кадм и Гармония», печатавшиеся ранее (Ивинский 2015; Ивинский 2018), для настоящего издания заново просмотрены и дополнены, прочее публикуется впервые.

Литературная жизнь

Пространство русской литературной жизни XVIII в. было сложным, отмеченным той динамикой, которая обуславливалась не только борьбой индивидуальностей, но и постоянно менявшейся ситуацией при дворе, то есть в политической сфере, где никогда не прекращалась борьба партий и идеологий. Вместе с тем это пространство было, по крайней мере в первой половине столетия, разреженным: новая русская литература европейского типа находилась в периоде становления и роста, литературных школ, которые сознательно и целенаправленно оформляли бы эти рост и становление, не существовало, поэтов, посвятивших себя созданию этой новой литературы, было мало. В этой ситуации особое значение имели те импульсы, которые шли от власти, осознававшей необходимость оформления новой гуманитарной сферы под новую культурную идеологию, опирающуюся на опыт петровской революции и подчас весьма прихотливо адаптировавшуюся к идеологическим программам каждого нового царствования.

Соответствующим образом, русская литература XVIII в. обязана своим осуществлением в том виде, в каком мы ее знаем, не только поэтам, но и нескольким политическим деятелям, которые им покровительствовали, имея в виду не только и даже не столько собственную славу, образ которой зависимые от них поэты могли закрепить в сознании некоторой части общества, но и общественную пользу, которой могла служить поэзия, развивающая разум и нравственное чувство и вместе с тем побуждающая к учению. Поэтому покровительствуя поэтам, они имели в виду не только конкретные судьбы, но и весь контекст актуальных культурных (часто и полити-

ческих) проектов, и в соответствии с ним оформляли литературное пространство.

Наиболее результативными оказались действия, предпринятые князем Н.Ю. Трубецким (1699 или 1700 – 1767), И.И. Шуваловым (1727–1797), императрицей Екатериной II.

Трубецкой принадлежал к высшей аристократии и в разное время занимал должности генерал-прокурора, председателя Правительствующего сената, главы Военной коллегии, генерал-фельдмаршала и сохранял свое влияние при Анне Иоанновне, при Елизавете Петровне и даже в первые годы царствования Екатерины II. Связанный дружескими отношениями с А.Д. Кантемиром, он инспирировал его отклик на «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» (1735) Тредиаковского, а позднее поручил последнему подготовку к печати «Письма Харитона Макентина к приятелю о сложении стихов русских» (1743), адресованного, как и седьмая сатира Кантемира, Трубецкому (в тексте пьесы автор называет его своим «другом»), и вышедшему в свет вместе с переводами Кантемира из Горация в 1744 г. (Кантемир 1744; см. об этом: Куник, 1, L-LI; об отношении к Тредиаковскому Кантемира см. Берков 1936, 22); сохранились также ода («песня») и послание («письмо») Кантемира к Трубецкому, впервые напечатанные еще при жизни последнего (Кантемир 1762, 146–147, 158–159). В том же 1744 г. по указанию Трубецкого Академия наук выпустила в свет небольшую книжку «Три оды парафрастические псалма 143» (Куник, 2, 434; см. также: Ломоносов АН 2, 8, 903), в которой Тредиаковский, Ломоносов и Сумароков фактически подвели итоги реформы русского стихосложения и которая впервые сделала европейский принцип соревнования поэтов достоянием русской литературной жизни. В 1750-е гг. Трубецкой имел прямое отношение к организации придворных праздников, в частности маскарадов (Григорович 1874) и сыграл существенную роль в истории нового русского театра, обеспечив в 1752 г., в соответствии с указом императрицы Елизаветы Петровны, переезд труппы Ф.Г. Волкова (1729–1763) в Петербург (Старикова 1983). Уже на излете своей карьеры Трубецкой, назначенный «верховным маршалом» при коронации Екатерины II (Дуров 1870, 41), привлек к организации торжеств своего приемного

сына, М.М. Хераскова, тем самым выдвинув его в пространство актуальных культурно-идеологических проектов нового царствования, а еще раньше, с помощью И.И. Шувалова, обеспечил участие Хераскова в делах Московского университета. Фактически именно в деятельности Трубецкого нашла выражение преемственность между т.н. «ученой дружиной», с деятельностью которой, кроме него и Кантемира, связывают Феофана (Прокоповича) и В.Н. Татищева (1686–1750) (см. об этом: Чистович 1868, 607–617), и только что перечисленными поэтами, усилиями которых в России была создана новая литература европейского типа. В этом отношении влияние Трубецкого на русскую литературную жизнь в период ее формирования следует признать исключительно существенным и даже ключевым.

Шувалов, подхвативший найденный или, точнее, адаптированный Трубецким к русским условиям соревновательный принцип, попытался оформить соперничество Ломоносова и Сумарокова в других жанрах, трагедии и оды, укрепил литературно-общественную репутацию первого, добился публикации перевода поэмы Александра Поупа «Опыт о человеке», осуществленного учеником Ломоносова Н.Н. Поповским, а в последнее время своего политического могущества, успел поддержать молодого Державина, который всю жизнь считал себя обязанным Шувалову. Перевод Поповского остался в истории русской литературы как первый опыт метафизической поэзии в России, оказавший разностороннее влияние на русскую поэзию второй половины XVIII в. Главная же заслуга Шувалова перед русской литературой заключается в том, что созданный им при участии Ломоносова Московский университет вплоть до начала XIX в. благодаря Хераскову, выдвинутому, повторим, именно Шуваловым, оставался крупнейшим центром литературной жизни.

С именем Екатерины II связаны две литературные революции, имевшие исключительное значение для истории русской литературы. Первая – журнальная 1769 г., когда императрица издавала первый русский литературный журнал, вызвавший общий интерес элиты и множество подражаний и последователей, самым известным из которых был Н.И. Новиков, поддержанный ею, с его журналами «Трутенъ», «Живописец», «Пустомеля», «Кошелек». Вторая – выдвижение

Г.Р. Державина – автора «Фелицы» на первый план литературного процесса, осуществленное с помощью издававшегося при участии императрицы журнала «Собеседник любителей русского слова» (1783–1784), с одновременной канонизацией Ломоносова как русского классика и родоначальника русской литературы европейского типа (о литературных проектах Екатерины II см. подробнее: Ивинский 2012).

Назовем и других представителей высшей элиты, оказавших менее значительное, но все же вполне различимое, влияние на судьбы русских поэтов и тем самым на литературный процесс: кн. А.Б. Куракин, покровительствовавший Третьяковскому, граф (с 1762 г.) и светлейший князь (с 1763) Г.Г. Орлов, поддерживавший Хераскова, кн. Е.Р. Дашкова, содействовавшая выдвижению Державина и оказавшая покровительство И.Ф. Богдановичу и Н.П. Николеву, и св. кн. Г.А. Потемкин, с которым был связан В.П. Петров.

Судьбы поэтов зависели от судеб их покровителей, но при этом в литературном пространстве постепенно складывались свои отношения и свои иерархии, отражавшие не только, а с течением времени и не столько социальное положение поэтов, их связи с придворными партиями, но и их творческие возможности, их литературные репутации, уточнявшиеся и часто пересматривавшиеся под влиянием разных читательских групп, придворных партий, верховной власти. Соответствующим образом, каждый из них, выстраивая стратегию и тактику своего поведения в обществе, должен был хорошо ориентироваться в сложной динамической системе политической борьбы, идеологий, социокультурных программ, символических конструкций, сопровождающих эти идеологии и программы, исторических реконструкций, связанных и с политикой, и с идеологией, а вместе с тем личные отношения внутри элит, особенности биографий, социальные статусы, обусловленные как происхождением и семейными связями, так и заслугами перед властью. Далее, они должны были понимать механизмы взаимодействия поэзии со всеми этими контекстами, к каким именно европейским образцам она могла или должна была апеллировать на уровне жанров и стилей: не обладая такого

рода знаниями, они не могли ни участвовать в литературной борьбе, ни претендовать на внимание политической элиты к их трудам.

В хитросплетениях такого рода всегда было непросто разобраться; тем большее значение имеют немногочисленные попытки описания историко-литературного процесса, из числа которых резко выделяется одна, наиболее влиятельная, а потому именно ее нам придется здесь обсуждать.

Версия Г.А. Гуковского (1)

Историко-литературная концепция Гуковского, в той ее части, которая затрагивала русскую литературу XVIII в., сохраняет свое влияние. Правда, сохраняет его она довольно специфическим способом: ее научные основания и объяснительный потенциал почти не обсуждаются, а факты, ей противоречащие, обсуждаются обычно так, чтобы она формально не была задета. Впрочем, формируется (в последние годы все более активно) и другая позиция: начинают звучать голоса, требующие отрешиться от этой концепции как заведомо устаревшей и даже несостоятельной. Данная позиция, как и любая другая, разумеется, имеет право на существование, но выглядит она странно, поскольку речь идет о концепции, которая, в сущности, никогда не обсуждалась развернуто. Ограничимся одним примером. В недавней содержательной статье говорится: «Несмотря на крайний схематизм и страдающие анахронизмами суждения, работа Гуковского представляет интерес в своем конкретном анализе дворянской литературы и нахождении ее идейных связей с политической мыслью эпохи. В целом же выращенная на основе давно уже никем всерьез не воспринимаемых схоластических построений Покровского концепция “дворянской фронды”, устаревшая и не соответствующая фактам, почему-то до сих пор некритично используется некоторыми историками» (Польской 2012, 81). Нам видится, здесь есть какое-то странное противоречие: концепция Гуковского устарела, но используется «некоторыми»: непонятно, то ли эти некоторые устарели вме-

сте с этой концепцией, то ли они ее, в отличие от автора статьи, по каким-то причинам, возможно заслуживающим обсуждения, считают не устаревшей, а актуальной (к вопросу о М.Н. Покровском как предшественнике Гуковского, поставленному еще С.М. Бонди, нам придется вернуться). Еще более любопытно указание на сложившийся в целом – за вычетом этих «некоторых» – консенсус: «никто» – надо полагать, те, с кем автором статьи знаком, – уже «не воспринимает всерьез» старую концепцию.

Допустим, что это действительно так (тем более что С.В. Польской обсуждает филологов, а историков, то есть среду, о которой автору этих строк судить значительно сложнее, чем о филологической, и не всю историко-литературную концепцию Гуковского, а ту ее часть, которая собственно соприкасается с историей, то есть именно постановку вопроса о «дворянской фронде»). И все же, рискнем заметить, наш опыт обсуждения темы говорит несколько об ином: все – или, выразимся осторожнее, те, чья позиция нам известна, – исходят из представления, согласно которому дело не только в том, насколько правильна или неправильна старая концепция, но и в том, что ей нужно противопоставить другую, а этой другой нет: то ли она не складывается, то ли не нужна. Другая мотивация молчания связана с причинами этического порядка: от полемики с трудами жертв сталинских репрессий обычно принято уклоняться.

Впрочем, так обстояло дело до начала прошлого десятилетия, когда увидела свет статья В.М. Живова, послужившая предисловием к осуществленному им переизданию ранних работ Гуковского по истории русской литературы (Гуковский 2001, 7–35) и содержавшая критику его концепции. Эта критика, в целом справедливая, представляется нам местами чересчур резкой и слишком лаконичной и вместе с тем слишком слитой с интеллектуальными предпочтениями самого Живова, а главное она ограничивается именно ранними работами Гуковского, поскольку позднейшие Живов, согласно его заявлению, готов «пересказывать» лишь «с сокрушенным сердцем», поскольку они свидетельствуют, по его мнению, о «последовательной деградации – и нравственной, и интеллектуальной» ученого, который «принадлежал

к числу тех, кто приобрел свой социальный статус благодаря большевистскому режиму» (Гуковский 2001, 28).

По этим причинам мы не обсуждаем далее статью Живова (не отказываясь от ссылок на нее в дальнейшем изложении и, тем более, от обращения к другим его работам), а вместе с тем считаем нужным заново и подробно обсудить концепцию Гуковского, по крайней мере в той ее части, которая касается истории «сумароковской школы», затрагивая вместе с тем ее рецепцию в советской гуманитарной среде; при этом нас будет интересовать не только то, что было сказано Гуковским, но и принятая им техника аргументации, то, как были «сделаны» его работы, в том числе именно ранние, существенно превосходившие позднейшие по научному уровню, как полагал В.М. Живов. Конечно, перепечатка ранних статей Гуковского, посвященных русской литературе XVIII века, с предисловием В.М. Живова не единственное основание для такого обсуждения: с предисловием А.Л. Зорина переиздан учебник (Гуковский 1999; первое издание: Гуковский 1939; отклик В.М. Живова на это издание: Гуковский 2001, 30), до сих пор использующийся в практике вузовского преподавания (и со вполне серьезным на то основанием: перед нами тот редкий случай, когда учебник, предназначенный для студентов, стал рассматриваться как факт истории высокой гуманитарной культуры и по этой причине остается вне конкуренции), а вместе с тем все чаще привлекает к себе внимание роль Гуковского в истории науки (см., в частности: Маркович 2007, 198–234; Пономарев 2008; Аствацатурова 2018 и др.).

Но прежде всего все жеотреагируем на только что приведенный текст о Гуковском и о «большевистском режиме».

О советской гуманитарной интеллигенции

Отреагируем мы на него не потому, что нам кажется принципиально неверной постановка вопроса Живовым или слишком неуместной его попытка связать то, что он называет «деградацией» Гуковского, с его стремлением служить указанному режиму (всем понятно, что

деградация неизбежна при любом режиме – в том случае, если ученый начинает служить не науке, а идеологической и политической конъюнктуре, тем или иным партийным группировкам и т.д.: количество трюизмов такого рода можно умножить, что нимало не ставит под сомнение их адекватность). Дело в другом: уяснить место Гуковского в советском культурном истеблишменте невозможно без понимания неоднородности и внутренней разделенности этого истеблишмента, которая никогда не оформлялась официально / институционально, не исключала ни тактического взаимодействия, ни более глубоких форм сотрудничества, ни распределения определенных «элитных возможностей» между группами, и при этом всегда была в полной мере понятна только тем, кто наблюдал ситуацию изнутри. Заинтересованные читатели могут ознакомиться, например, с небольшим текстом, недавно опубликованным письмом В.А. Ковалева к Я.С. Билинскому от 3 марта 1968 г., которое представляет собой подробный и заинтересованный отчет о чудовищном (хотя и вряд ли уникальном) скандале, в который разрешилось чествование И.Л. Андроникова, одного из талантливых «советских литературоведов». Скандал этот возник, в частности, именно из-за расхождения участников в вопросе об оценке деятельности Гуковского: С.М. Бонди и В.В. Виноградов говорили о несостоятельности Гуковского как ученого (первый) и его непорядочности как человека (второй), им оппонировал Ю.Г. Оксман, заявивший о том, что мертвый Гуковский остался в науке, в отличие от живого лишь физически, но не творчески Бонди, а виновник торжества Андроников повторил давно кружившие в филологической среде (точнее, в ее «либеральной» части) мнения о том, что Виноградов, склонный к обильному цитированию первоисточников, создает не научные монографии, а популярные хрестоматии (см.: Глушаков 2011). В подтексте скандала не только личные антипатии и не только научные расхождения (при всей важности последних): при том, что каждый из участников мероприятия в большей или меньшей степени связан с культурой «серебряного века» (даже более молодой Андроников успел прикоснуться к ней на ее излете) и в этом смысле у них немало общего, Виноградов и Оксман представляют крайние полюсы идеологии советского истеблишмента: первый, появившийся на свет в семье священника, позднее репрессированного, вполне лояльно от-

носился к «реставраторским» тенденциям сталинизма, второй (как и Гуковский или Тынянов и другие «формалисты») воспринимал эти тенденции как покушение на идеалы раннего этапа революции, которым готов был служить не за страх, а по внутреннему убеждению; судьба его сложилась драматически: десять лет он отбыл в лагере, потом долго работал в Саратовском университете (куда устроился при помощи Гуковского), с трудом перебрался в Москву, где повел борьбу с теми, по чьим доносам деятелей советской культуры во второй половине 1930-х гг. сажали в тюрьмы. Позиция Бонди до сих пор не ясна, поскольку в нашем распоряжении лишь отдельные свидетельства, не дающие полной картины (некоторые из них, впрочем, весьма выразительны, см. в особенности: Власть 1999, 491); рискнем предположить, что по отдельным вопросам он был ближе (только ближе – о единстве позиций, если они вообще были оформлены до конца, речь не шла) к Виноградову (и, кажется, еще ближе, с той же оговоркой, к политически бледному «московскому литературоведению» с его осторожной немецкой культурной ориентацией, то есть, в частности, к М.А. Цявловскому и Т.Г. Цявловской, дочери Г.Э. Зенгера, филолога-классика, при Николае II побывавшего в должностях ректора варшавского университета и министра народного просвещения). Андроникова только что перечисленные не считали в полной мере «своим человеком», но воспринимали как культурного энтузиаста, умевшего развлекать эрудитов своими «исследованиями и находками» в области «лермонтоведения», героической разгадкой задолго до него разгаданной «загадки Н.Ф.И.», блестящими эстрадными выступлениями, оживившими жанр салонного анекдота, и виртуозными подражаниями голосам известных людей.

Как только мы принимаем во внимание эти контексты (далеко еще не исследованные в полной мере), выясняется, что «режиму» служили все, кто захотел / сумел принять заявленные им «правила игры» (которые мы здесь обсуждать не будем), кто за страх, кто за совесть, кто-то пытался прихотливо совмещать две эти мотивации, и при этом данная «служба» не отменяла ни идеологической борьбы, ни даже политической, приобретавших специфическую остроту в момент их «переключения» на уровень обсуждения стратегии «советского культурного строительства».

Однако все сказанное до сих пор оказывается совершенно недостаточным для понимания процессов, которые шли *внутри* обозначенных только что групп: в каждой из них имели место свои размежевания и консолидации, еще менее различимые со стороны. Попробуем показать это на одном примере, имеющем непосредственное отношение к предмету настоящего исследования.

В 1927 г. Ю.Н. Тынянов напечатал статью «Ода как ораторский жанр» (Тынянов 1927), которая представляла собой «заново проредактированный» фрагмент его работы 1922 г. «Ода и элегия» (Тынянов 1927, 102). В этой статье, в частности, Тынянов пытался показать, что Сумароков «выступил против витийственного начала» ломоносовской оды, противопоставив «остроумие» и «семантическую ясность» «ораторской “пылкости”», «витийственному началу», с которым ассоциируется принцип «сопряжения далековатых идей», «метафоризм», «символизм», «аллегоризм», «гиперболизм» (Тынянов 1927, 116–119). В том же сборнике сразу после тыняновской была помещена статья Гуковского «Из истории русской оды XVIII века (Опыт истолкования пародии)» (Гуковский 1927а); в ней, как бы в продолжение рассуждений Тынянова, обсуждалась «сумароковская школа», оформившаяся в борьбе с «ломоносовским направлением», которое пытался возродить В.П. Петров (Гуковский 1927а, 131–133).

Концептуальная связь двух этих статей представляется обычно столь несомненной, что, скажем, В.М. Живов в только что упомянутой статье мог заявить, что Гуковский некритически «воспроизводил спекулятивные построения Тынянова» (Живов 2001, 15). И действительно, с этим трудно спорить, а с учетом только что обрисованной нами картины взаимоотношений в советской гуманитарной среде естественно предположить, что Гуковский и Тынянов принадлежат к одной группе, являются единомышленниками и при этом первый подстраивается под второго, а второй рассматривает первого как свою идеологическую и профессиональную опору.

Возможно, в каком-то смысле все это так и было бы или могло быть, однако проблема заключается в том, что Тынянов не только не воспринимал Гуковского как значимого союзника но и, более того, как ученого, чью деятельность он мог бы рассматривать как близкую собственной. Ср. хотя бы в полемическом письме Тыняно-

ва к Л.Я. Гинзбург от 26 декабря 1929 г.: «Работы Жирмунского, Гуковского, Шимкевича, при их разности, считал и считаю работами враждебными ОПОЯЗу, враждебными тому направлению, которое я считаю главным делом своей жизни» (Савицкий 2006, 148); ср. емкую оценку отношений Гуковского со старшими формалистами («Гуковский в свое время разругался с Тыняновым, сегодня на заседании со Шкловским») и, видимо близкую к стенографической, запись его пикировки с последним (Гинзбург 1989, 14); см. также выразительный опыт печатной полемики Гуковского с В.Б. Шкловским, свидетельствующий о том, что речь шла именно о научном, а не только о личном конфликте (Гуковский 1930); о непростых отношениях Гуковского с Б.М. Эйхенбаумом см.: Осповат 2009. В этой связи необходимо принять во внимание и отношения Гуковского с близким ему поколением учеников «формалистов», и прежде всего Л.Я. Гинзбург и Б.Я. Бухштабом, для которых поиск своего места в научном пространстве, очерченном учителями, стал серьезным интеллектуальным и нравственным испытанием. На следующем шаге обсуждения темы нам неминуемо пришлось бы обратиться к столь же сложным взаимоотношениям старших «формалистов», в частности Шкловского с Тыняновым, а затем обсуждать разнообразные следствия этих вроде бы частных внутригрупповых разногласий – вплоть до конца истории русского «формализма», когда идеи и Гуковского, и Тынянова оказались востребованы Ю.М. Лотманом, с деятельностью которого был одно время связан В.М. Живов, лишь в 1990-е гг. отошедший от того, что к тому времени оставалось от т.н. «тартуско-московской семиотической школы», и, видимо, обдумывавший перспективы более широкой переоценки ценностей, в том числе «формализма», с серьезным отношением к которому испытывали проблемы и некоторые другие исследователи, имевшие условное отношение к этой «школе», как В.Н. Топоров.

Кратко, а потому более грубо, чем нам хотелось бы, обозначив данные контексты и вместе с тем отмежевавшись от слишком прямолинейных интерпретаций положения в гуманитарном сегменте советского социально-идеологического пространства, подробное обсуждение которого явным образом выходит за пределы данной работы, возвращаемся к нашей теме.

Версия Г.А. Гуковского (2)

Книга Гуковского «Русская поэзия XVIII века» открывается статьей «Ломоносов, Сумароков, школа Сумарокова» (Гуковский 1927, 9–47), выглядевшей как серьезная заявка на концепцию, охватывающую всю вторую половину XVIII в. Поэтому нам придется прокомментировать проблемные аспекты этой концепции, а вместе с тем привести несколько фрагментов статьи Гуковского с минимальными сокращениями.

За точку отсчета Гуковский принимает середину 1750-х гг.:

В середине 50-х годов выступил в печати и ученик Ломоносова по Академии Наук, Н. Н. Поповский, которому прочили великую будущность. Но так же как в рукописной полемике, и в положительном поэтическом творчестве уже в это время за Сумароковым стояло больше литературных сил, чем за его врагом. Сам он воцарился в отделе поэзии начавшего выходить в 1755 г. Академического журнала «Ежемесячные Сочинения». Кроме него здесь поместили свои произведения Херасков; С. Нарышкин, Нартов, Ржевский и др. (Елагин – переводы в прозе). Все они продолжали в том или ином направлении пути, открытые Сумароковым. Однако, наличие всех этих имен не меняло положения дел; и Ломоносов и Сумароков могли не считаться с разрозненными и малочисленными выступлениями учеников

(Гуковский 1927, 39).

Итак, утверждается, что противостояние Ломоносова и Сумарокова оформилось невыгодным для первого образом: у него один последователь, у его противника несколько. Но тут же говорится, что серьезного значения литературная деятельность представителей новых литературных поколений не имела: ученики Сумарокова рабски следовали по «путям», им «открытым». Более того, «выступления учеников» ничего не меняли по существу, и у Ломоносова и Сумарокова не было оснований считаться с ними. Неизбежно возникающий вопрос о Поповском и его «великой будущности» Гуковский не обсуждает, несмотря на то, что именно в этой точке рассуждения было важно уточнить, какова же степень его зависимости от Ломоносова;

не обсуждается и столь же неотменимый вопрос о том, «прочил» ли кто-либо подобную же «будущность» кому-то из учеников Сумарокова. Ведь если нет, то тогда их количественное преобладание, действительно, оказывается несущественным – но в этом случае с ними вряд ли может уравниваться Поповский, чья литературная репутация выглядит совершенно иной и не может игнорироваться.

Перелом, по Гуковскому, происходит в 1759 г.:

Так все обстояло до 1759 г., изменившего уже соотношение сторон в пользу Сумарокова. В этом году он предпринял издание журнала «Трудолюбивая пчела», в котором поместил в течение одного года огромное количество своих произведений. «Трудолюбивая пчела»— это решительная атака сомкнутыми рядами, приступ, для которого Сумароков мобилизовал все свои силы. Вместе с тем, что было еще важнее, ему удалось привлечь в свой журнал ряд молодых писателей, проникнутых его стремлениями в литературе; журнал послужил первой основой для образования Сумароковской школы. Среди примкнувших к нему были поэты: С. Нарышкин, Ржевский, Нартов, Аблесимов, Е. Сумарокова и др. Как ни скромны были вклады каждого из них в журнал,— все же шаг вперед был сделан; в то время, как Ломоносов оставался один (Поповский в это время отошел от него), Сумароков имел за собою не только периодический орган, но и группу учеников

(Гуковский 1927, 39–40).

Здесь как будто все логично и ясно: единственный ученик Ломоносова оставляет учителя в одиночестве, Сумароков же не только печатается больше, чем когда-либо ранее, но и на базе «Трудолюбивой Пчелы» оформляет свою литературную группу («школу»). И нужно вчитаться в этот текст Гуковского внимательно, чтобы выделить некоторые недосказанности, умолчания, неясности. Во-первых, выражение «решительная атака сомкнутыми рядами» подразумевает обычно атаку, в которой участвуют не один человек, а множество. И вроде бы естественно заключить, что «сомкнутые ряды» – это «ряды» «сумароковской школы», тем более что тут же говорится, что для этой «атаки» Сумароков «мобилизовал все свои силы». Но это упоминание о «своих силах» звучит как каламбур: фразу Гуковского можно понять

и как указание на стремление Сумарокова использовать все свои личные творческие возможности по максимуму, и как указание на его попытку «мобилизовать» учеников и, «сомкнувшись» с ними в «единые ряды», броситься на «приступ» одинокой ломоносовской твердыни. Но, насколько можно понять, на самом деле в этом месте речь идет именно и только об одном Сумарокове: тема «молодых писателей» возникает лишь в следующей фразе. Во-вторых, тут же выясняется, что «Трудолюбивая Пчела» – только «первая основа» «сумароковской школы», а «вклад» в журнал каждого принадлежавшего к ней поэта был весьма «скромнен». В результате смысл всего пассажа становится мерцающим. С одной стороны, «группа учеников» сплотилась вокруг учителя, но при этом в «решительной атаке сомкнутыми рядами» он один и участвует (зачем тогда было сплачиваться и в чем смысл этого сплочения?). Заявить иное, подчеркнув какое-то особое значение этих учеников в схватке Сумарокова с Ломоносовым, Гуковский, разумеется, не может: это означало бы уже недвусмысленную фальсификацию материала.

Следующим и решающим эпизодом истории формирования «сумароковской школы» Гуковский считает издание журнала «Полезное увеселение». Впрочем, он говорит уже не о «школе», а о «направлении», используя, кажется, эти слова как синонимы:

Дальнейшим этапом в развитии Сумароковского направления следует считать появление в 1760 г. первого журнала из серии изданий Московского университета, «Полезного Увеселения». Несмотря на то, что Сумарокову удалось привлечь в свой журнал нескольких поэтов, участие их в литературе до 1760 г. ограничивалось весьма немногим; они могли лишь пассивно примыкать к тому или иному вождю, но сами в развитии традиции силы не имели. Наоборот, с 1760 г. в литературу вступила целая плеяда молодых поэтов, связанных единством направления еще более, чем личной дружбой. «Полезное увеселение» сразу обогатило словесность внушительным количеством имен, среди которых было не мало будущих корифеев. Все те, которые до этого времени печатали свои произведения изредка, вразброд, незаметные, незрелые, неорганизованные, – теперь, в своем собственном органе, уже возмужавшие, соединившиеся в единую группу, составили явление, еще невиданное, составили силу. Рядом с ними стало не мень-

шее число вовсе новых людей, воспитанных уже в том направлении, к которому примкнуло и которое развивало «Полезное увеселение». Душою журнала, редактором, вдохновителем и деятельнейшим сотрудником его был Херасков; ближайший соратник его – Ржевский; рядом с ними стоят Нартов, С. и А. Нарышкины, Карин, Поповский (примечателен его переход в орган Сумароковцев; впрочем, он умер уже в 1760 г., не написав почти ничего оригинального), Богданович, Санковский, Е.Хераскова, Домашнев, В.Майков (с 1762г.) и др. (кроме того ряд прозаиков). В особенности важное значение имел журнал Хераскова для разрешения распри между Ломоносовской и Сумароковской системами. Поэты «Пол. Увеселения» стали на сторону Сумарокова; можно считать этот журнал органом его направления. Дерзкие ученики пошли за более молодыми из борющихся вождей; это понятно: новое побеждает уже потому, что оно новое

(Гуковский 1927, 40–41).

Итак, как выясняется, нет никаких оснований сколько-нибудь преувеличивать значение участия «молодых поэтов» в «Трудолюбивой Пчеле»: только в «Полезном увеселении» они стали «силой». При этом значение последнего в том, что именно он сыграл существенную или даже решающую роль в истории «распри между» «системами» Ломоносова и Сумарокова, которая разрешилась тем, что эти «молодые поэты» «стали на сторону Сумарокова». Почему они на нее стали? Потому что Сумароков был моложе Ломоносова и по этой причине воспринимался как поэт «новый» и более близкий новому поколению.

При этом остается до конца непонятным, когда же именно эти «молодые поэты» совершили свой выбор. Неужели только в 1760-м году? Что же изменилось с 1759-го (не говорим уже о том, что, как мы видели, у кого-то из них возможность совершить этот выбор обозначилась уже «в середине 1750-х», и они его в каком-то смысле, по мнению Гуковского, совершили уже тогда)? В самом деле, в 1759-м они, имея возможность консолидироваться вокруг Сумарокова и его «Трудолюбивой Пчелы», этой возможностью не воспользовались, а через год «стали на сторону Сумарокова» в «Полезном увеселении». Повторим: что же изменилось за этот год? И что стоит за неопределенно-обтекаемой формулировкой «можно считать этот журнал органом» су-

мароковского «направления»? «Можно считать» – значит, можно и не считать? Какова степень обязательности этих формулировок, понадобившихся, по-видимому, лишь для того, чтобы поддержать тезис о «сумароковском направлении»? И главное: каковы же роль и место самого Сумарокова в этом главном органе его «направления»?

Сказать, что они ничтожны, Гуковский не может: это означало бы дезавуировать всю концепцию. Он не говорит о том, что Сумароков не определял редакционную политику «Полезного увеселения», и даже как бы позволяет себе на время забыть о том, что издателем-редактором журнала был Херасков (в позднейшей книге Гуковский подробно останавливается на этом вопросе, см.: Гуковский 1936, 202–204). Говорится же следующее:

Интересно, что именно в «Полезном увеселении» <...>, уже во II выпуске его были напечатаны два перевода оды Ж. Б. Руссо «На счастье», сделанные Ломоносовым и Сумароковым; это было как бы состязание учителей перед судом учеников. Редакция сделала такое примечание к одам: «Любители и знающие словесные науки могут сами, по разному обоим Пиитов свойства, каждого перевод узнать» <...>. После этого перевода ни одного стихотворения Ломоносова за 2 1/2 года жизни журнала в нем не появилось; Сумароков же поместил еще в 1761 г. несколько своих притч, и потом, в «Свободных Часах», являвшихся продолжением «Пол.<езного> Увеселения», целый ряд своих произведений; кроме того, он поддерживал вообще связь с журналом; так в августе 1760 г. он вступил в любопытное поэтическое состязание с двумя сотрудниками его, Кариным и Нартовым <...> и т. п. Организовавшейся таким образом окончательно школе Сумарокова принадлежала руководящая роль в развитии русской литературы ближайших годов и даже десятилетий

(Гуковский 1927, 41).

Все это выглядит уже совсем странно. В то самое время, когда, по словам Гуковского, «поэты “Полезного увеселения”» становятся «на сторону Сумарокова», они печатают его перевод рядом с ломоносовским и демонстративно уклоняются от выбора между ними, фактически уравнивая антагонистов. Ясно, что подобное поведение «учеников» в ситуации, когда «учитель» продолжает свою, как выясняется, оди-

нокую борьбу, не могло быть чем-то случайным или несущественным. Между тем Гуковскому, который, конечно, это прекрасно понимал, было достаточно сказанного им о позиции «Полезного увеселения» и «Свободных часов», чтобы заявить, что «таким образом» «окончательно» сформировалась «школа Сумарокова», и что она «годы» и «десятилетия» доминировала в русском литературном пространстве.

Оставляем в стороне «любопытное поэтическое состязание» Сумарокова с Каринным и Нартовым, которое во всяком случае отнюдь не свидетельствует о единстве литературных позиций Сумарокова и «сумароковцев» (скорее об обратном). А вот к вопросу о публикации в «Полезном увеселении» сумароковских притч нам еще предстоит вернуться.

Пока же задержимся ненадолго на утверждении Гуковского об этой «школе Сумарокова». Если она действительно сыграла ту «руководящую роль», которую исследователь ей приписывает, и при этом оставалась так долго «сумароковской», естественно было бы предположить, что, во-первых, ей была присуща высокая степень внутреннего единства, а во-вторых, она должна была как-то заявить о себе именно как о «сумароковской» и отмежеваться от Ломоносова и его наследия. Но, как тут же выясняется, ничего этого не было и в помине:

Впрочем, внешнее единство группы долго не продержалось. Выходивший под редакцией Хераскова вслед за «Пол. Увеселением» в 1763 г. журнал «Свободные Часы» имел меньшее число сотрудников и меньшее значение, так же как другие издания из той же серии («Невинное Упражнение» 1763 г., «Доброе Намерение» 1764 г. <...>). Став на сторону Сумарокова, поэты «Полезного Увеселения» тем не менее не продолжали той полемики, которую вел их учитель и его единомышленники в 50-х годах. Начало 60-х годов — эпоха закрепления позиций; со старым, Ломоносовским началом счеты были покончены; полемический пыл уступил место пафосу созидания. В 1765 г. умер Ломоносов, испытавший сам за последние годы влияние новой школы; бороться было более не с кем

(Гуковский 1927, 41–42).

Итак, литературная группа «сумароковцев», во-первых, сохраняется лишь условно, на уровне «ядра», которое образуют Херасков и его ближайшее окружение; во-вторых, ничего специфически антиломоносовского в деятельности этой группы не обнаруживается. Понимая, что это последнее обстоятельство нельзя оставить без разъяснения, Гуковский ограничивается заявлениями самого общего характера: нужно было «закреплять позиции», двигаться вперед и «созидать», а «ломоносовское начало» выглядело слишком архаичным и по этой причине не требовало полемики; к тому же сам Ломоносов скоро умер. Оставалось обсудить вопрос об отношении к Сумарокову, и в данном отношении все выглядело вполне предсказуемо:

Исходной точкой деятельности поэтов «Полезного Увеселения» было творчество Сумарокова. Его превозносили похвалами, на его суд отдавали свои произведения. Даже значительнейшие поэты школы решались непосредственно подражать ему, исходя из положения об абсолютной, сверхиндивидуальной ценности того или иного мотива и считая желательным удачное подражание высоким образцам. Помимо ряда прямых заимствований, из многочисленных случаев повторения системы учителя в данном жанре можно указать, например, на басни В. Майкова, в которых все, начиная от грубейшего словаря и кончая приемами сказовой ретардации, структурой рифмы, общим истолкованием жанра – Сумароковское. Бывали и тщетные попытки отойти от Сумароковского канона. Так, напр., Херасков в своей трагедии «Венецианская Монахиня» попытался ввести некоторые новшества, отчасти под влиянием современной французской традиции, хотя в большинстве существенных приемов следовал все же Сумарокову. Но и этот частичный отход ликвидируется в последующих трагедиях

(Гуковский 1927, 42).

Здесь только «Венецианская Монахиня» не на месте (что такое «приемы сказовой ретардации» у Сумарокова и Майкова, мы здесь не обсуждаем): эта трагедия была создана еще в 1758 г., а следовательно первая попытка Хераскова пересмотреть значение предписаний «учителя», поэтику сумароковской трагедии, должна быть отнесена к тому времени, когда, согласно Гуковскому, «сумароковская школа»

еще не сформировалась окончательно. Скорее всего, это намеренная неточность, допущенная Гуковским по причине нежелания проблематизировать свой тезис о просумароковской позиции «учеников» уже на раннем этапе реконструированного им историко-литературного процесса. Пока просто зафиксируем это обстоятельство, чтобы позже к нему вернуться.

Но в самом ли деле картина, нарисованная Гуковским, так благополучна для Сумарокова? Да, им восхищались, ему подражали (не так часто и не так удачно, как бы ему хотелось), его похвалами дорожили, тем более что на похвалы он был скуп. Однако мало кто из восхищавшихся и дороживших принимал сумароковскую жанрово-стилевую систему не критически. Более того, именно «ученики» Сумарокова начали последовательный пересмотр этой системы. Гуковский все это понимает, но считает возможным в самой этой борьбе «сумароковской школы» с Сумароковым усмотреть недвусмысленное подтверждение их от него зависимости.

Но понимая это и пытаясь таким образом защитить свою концепцию, он все же не может дальше обсуждать «сумароковскую школу». Поэтому она мгновенно исчезает, уступая место «херасковской группе», опирающейся на «систему Сумарокова»; время и механизм перехода или превращения одного в другое не обсуждается; очевидно, что для Гуковского это в каком-то смысле одно и то же (Херасков возглавил группу последователей Сумарокова), однако прямо он об этом здесь не говорит (ср. позднейшее более прямолинейное заявление: Гуковский 1939, 170), предпочитая обсуждение сложных «деталей»:

Однако, если бы поэты Херасковской группы остановились на повторении приемов учителя, то их роль в истории русской литературы была бы не велика. Они не успокоились на добытом Сумароковым и повели традиции, им созданные, дальше, и в этом их главное значение. Усвоив систему Сумарокова, они принялись за самостоятельное продолжение его труда. При этом углубляя и развивая приемы учителя, они в то же время перерабатывали их, вносили в его традиции новые элементы, отказывались от старых и т. д. В результате, в руках этих писателей, принявших заветы Сумарокова и отнесшихся к ним творчески-свободно, русская поэзия получила особое направление,

отклонившееся в целом ряде пунктов от того, которое придал ей сам Сумароков. Переработку и пополнение Сумароковских традиций, а отчасти и продолжение их, составляет содержание 60-х и 70-х годов русской литературы. Некоторые стороны творчества Сумарокова не были восприняты в полной мере его учениками. Так, напр., его стремление развить разнообразные ритмические формы русского стиха было более или менее чуждо его ученикам. Может быть это ослабление внимания к звуковой стороне стиха было связано с ослаблением интереса к лирической стихии в поэзии. <...> В самом деле, уже ближайшие ученики Сумарокова начинают отходить от преобладания этой стихии, какое характерно для эпохи 40-х и 50-х годов. Непосредственная лирическая откровенность начинает казаться неоправданной, немотивированной рационально; в связи с этим преобразуются лирические жанры. Так, элегия <...> разлагается или переходит в другие жанры. Вместе с тем; рядом с ней вырастает <...> медитация, осуществляющаяся в „стансах» и в медитативных одах. Эти жанры должны были слить элементы интимной лирики с элементами дидактическими. Таким- же образом новосозданный <...> Херасковым высокий жанр философической оды сливал с тем же дидактизмом высокую лирику торжественных од. <...> Согласно новым принципам строится и эпистола, жанр, популярный среди Сумароковцев. Лирические жанры песни и сатиры привлекают мало внимания. Наоборот, появляются дидактические поэмы <...>. Одновременно с дидактизмом существенное значение в поэзии приобретает повествовательная стихия. В то же время, попутно с изменениями в системе жанров, происходят постепенно изменения – и в области слога вообще. Невзыскательная простота Сумароковской речи перестает удовлетворять. <...> «Простота» Сумарокова покинута; логика и безыскусственность преданы во имя отвлеченного вычурного словесного узора. <...> Большая выразительность речи выражается, в попытках усилить ее риторическую насыщенность. И здесь, следовательно, совершается посягательство на заветы Сумарокова

(Гуковский 1927, 42–44).

Все это на самом деле означает, что «херасковская группа», внимательнейшим образом изучившая «систему Сумарокова», сочла ее неадекватной собственным задачам и осуществила ее полную переработку как на жанровом, так и стилевом уровне. Отдавая себе в этом отчет, Гуковский пытается найти выход из ситуации, рассуждая о

постепенности изменений и том, что из сумароковского наследия отбрасывалось не все:

Впрочем, эти стилевые изменения вводились в систему, полученную от учителя, не сразу. Рядом с элементами нового крепко держится и старое, составляющее фон, в который вплетаются новые штрихи. Так, напр., принципы организации словаря, семантического строя, – остаются в большинстве произведений группы Хераскова – Сумароковскими. То же можно сказать и о синтаксическом строе фразы <...>. В этом отношении можно, как кажется, наблюдать даже углубление применения сумароковского принципа, поскольку, напр., в медитативной оде всплывают характерно-разговорные интонации, синтаксические прозаизмы <...>. По путям, предугазанным Сумароковым, шла работа его учеников и в области басни, хотя результатом этой работы явилось разложение сумароковской басенной системы

(Гуковский 1927, 44–45).

Вывести херасковскую «медитативную оду» или басню из сумароковских, конечно, невозможно: «медитативная ода» в херасковском смысле у Сумарокова вообще отсутствует, а что касается басни, то Гуковский в целом адекватно описал суть процесса: «разложение сумароковской <...> системы» (более правильно, на наш взгляд, в данном случае было бы говорить не о «разложении», а о целенаправленном построении альтернативной модели басенного жанра).

И все же он нашел еще один аргумент:

Следует заметить, что в творчестве Хераскова полнее всего выразился смысл и содержание изменений, внесенных группой в Сумароковскую систему

(Гуковский 1927, 45).

Так выяснилось, что самый значительный ученик Сумарокова оказался во главе «литературной группы», которая ему наследовала и одновременно с ним боролась, и что именно этот ученик дальше других продвинулся на пути борьбы с учителем.

В принципе, в том, что в какой-то момент какой-то ученик, одаренный или бездарный, дистанцируется от учителя и оказывается дальше от него, чем многие или некоторые в ближайшем окружении этого ученика, нет ничего особенно уникального, однако ситуация эта и не настолько тривиальна, чтобы отнестись к ней как к чему-то само собой разумеющемуся. И тем более сложно отнестись к ней подобным образом, когда накапливается слишком много неувязок, неточностей, чтобы не сказать намеренных искажений действительности, как в построениях Гуковского. Разумеется, все это не могло не привлечь внимания тех крайне немногочисленных его современников, которые хорошо владели материалом. Ниже мы скажем несколько слов о некоторых из них, но прежде нам нужно завершить обсуждение концепции Гуковского.

Окончательный вид она приобрела примерно через десять лет после выхода «Русской поэзии XVIII века».

В 1936 г. вышла в свет первая часть его «Очерков по истории русской литературы XVIII в.». У книги был подзаголовок: «Дворянская фронда в литературе 1750-х – 1760-х годов». Одна из целей, которые преследовал Гуковский в этой книге, состояла в том, чтобы встроить концепцию десятилетней давности в идеологический контекст. Речь шла о том, что политически активная и культурно состоятельная часть дворянской аристократии склонялась к умеренному либерализму, который был нужен как инструмент противодействия абсолютизму, претендовавшему на безраздельное идеологическое, политическое, культурное доминирование. Смысл и цель этого противодействия – обретение аристократией политических прав.

При этом вопрос о Сумарокове в данной перспективе был поставлен резко и масштабно:

Литературным вождем группы либералов-крепостников, независимых феодалов был Сумароков, политическим — Никита Иванович Панин

(Гуковский 1936, 8).

Соответствующим образом, литературной группе «сумароковцев» приписывалось существенное политическое значение, а их мировоззрение в целом квалифицировалось как «реакционное»:

Поэзия сумароковцев была социально реакционна уже по самому принципу своего художественного строения. Идеал отвлеченно-прекрасного в данных условиях реализовал консервативность, идею неподвижной системы должного, ту же идею, которая в социальном плане опрокидывалась сословным ретроспективизмом и слепотой на реальное развитие истории, в конце-концов бьющей слепца. С другой стороны, отрешенность от явных целевых мотивировок реализовала мировоззрительную пассивность, свойственную людям, стремящимся сохранить или, в лучшем случае, исправить, а не разрушить и строить. Люди типа учеников Сумарокова видели в своих социальных стремлениях не столько желание нового, сколько требование восстановления исконных прав, свойственных им по рождению и по закону их отвлеченной мысли. Идеи прогресса они не понимали

(Гуковский 1936, 27).

Как и раньше, ключевым эпизодом истории формирования этой группы Гуковский считает журнал «Полезное увеселение»:

Но уже с 1760 года группа выступает в литературе как организация, работающая по известной идейной программе,— выступает сомкнутым строем в собственном журнале «Полезное увеселение»

(Гуковский 1936, 31).

Но теперь Гуковский говорит о том, что уже в этом журнале «ученики Сумарокова» начали «переработку» его наследия, причем крайне специфическим образом – сочетая «растущий рационализм» с интересом к неким «морально-философским темам»:

Я не буду говорить здесь о тех художественно-конструктивных принципах, которые лежали в основе творчества сотрудников «Полезного увеселения». Они были выразителями единого литературного направления и почти все в большей или меньшей степени осуществляли и продолжали в искусстве пути Сумарокова. Будучи учениками

Сумарокова, они перерабатывали его наследие в духе растущего рационализма и морализма.

Херасков и его группа как бы усиливают моральный вес литературы, культивируя морально-философские темы в пределах целого ряда жанров

(Гуковский 1936, 37–38).

Итак, поэты, испытывающие все больший интерес к мистике и эзотерике, сочетали этот интерес с «рационализмом», причем более выраженным, чем у Сумарокова? Скорее всего, перед нами не очень тонкая попытка уйти от обсуждения темы, не просто не востребованной советской эпохой, но и крайне нежелательной и даже опасной, если не для Гуковского лично, то для перспектив дальнейших исследований «херасковской группы».

После екатерининского переворота эти поэты обретают, как считает Гуковский, идеолога в лице Панина, однако сама эта идеология обнаруживала двусмысленность:

Это было мировоззрение, нацело отрицавшее законность бунта, стремления к изменению социальных взаимоотношений, посягательства на status quo; а между тем оно разрабатывалось и служило орудием борьбы в среде таких людей, которые составляли оппозицию, которые стремились к перемене руководства страной, к изменению структуры власти, которые в конце концов не только сочувствовали, но и послужили одной из основ переворота, вооруженной рукой попытавшегося осуществить смену политической линии правительства. Идеологически концы с концами сводились просто: Сумароковцы протестовали против нарушения закономерно-установленного деления общества на классы, в политике же добивались не изменения, а восстановления закономерно-истинного положения вещей

(Гуковский 1936, 61–62).

В принципе, в этом контексте (довольно неопределенно обрисованном) могло бы подвергнуться серьезным испытаниям единство «сумароковцев», однако оно было «с самого начала» обеспечено единством социальной позиции и политической практики:

Следует оговориться, что вопрос об активизации политической деятельности и социального самосознания дворянства во всей полноте и остроте стал в литературе партии Сумарокова и Панина (и их преемников) в 60-х и потом в 70-х годах, в связи с той практической борьбой, которую вела эта партия. Тем не менее, основные вехи, по которым должна была пойти социальная борьба, были намечены в литературе сумароковской группой с самого начала ее образования. Враги были опознаны сразу же и с двух сторон одновременно. С одной стороны — это придворная «знать», дельцы, захватившие власть в государстве, «тесною толпой стоящая у трона» «чернь»; с другой стороны — это «подьячие» и «откупщики», т. е. купцы, мещане и бюрократы, стремящиеся к политической и экономической мощи путями, идущими вразрез с теми, по которым хотели вести страну либеральные помещики

(Гуковский 1936, 70).

«Практическая борьба», которую вела «партия Сумарокова и Панина» (не обсуждаю здесь вопрос о том, кого именно мог иметь в виду Гуковский, упоминая об «их преемниках»: на мой взгляд, данная формулировка вообще не соотносится с исторической реальностью) описывается как борьба за власть на два или даже три фронта: за и против Екатерины с тем, чтобы в результате переворота «объявить» ее «регентшей» при малолетнем императоре Павле I «и ввести при этом конституцию», против «партии Орловых», представлявших гвардию и «дворянские низы» (Гуковский 1936, 147–148). При этом положение Сумарокова поначалу выглядело весьма выгодным, поскольку он мог рассчитывать и на поддержку Панина, и на благодарность Екатерины, которой еще в 1759 году посвятил оду, а потому мог надеяться на статус «официального поэта»:

Глава литературной группы Сумароков <...>, конечно, оказался среди людей, поднятых волной переворота. Он близок ко двору, к императрице. Он – один из друзей Никиты Панина, стоящих рядом с ним. Панины находят в нем отныне усердного пропагандиста своей деятельности, прославляющего их как вождей и героев.

Литературные демонстрации Сумарокова в пользу опальной Екатерины 1759 года не были забыты. Он должен был стать официальным поэтом нового царствования, как Ломоносов был поэтом двора

Елизаветы Петровны. Он мог быть доволен: его желания были близки к исполнению. <...> Правительство не скрывало своего отношения к Сумарокову как к поэту новой власти

(Гуковский 1936, 161).

Но, как выяснилось уже ко времени подготовки коронационного маскарада «Торжествующая Минерва», Сумароков и Панин переоценили свои возможности:

Сумарокова одергивали каждый раз, как только он хотел слишком явно выступить от лица правительства с заявлениями в духе панинских проектов. Получалось так, что и в литературной пропаганде победа партии Паниных и Сумарокова была урезана с самого начала

(Гуковский 1936, 163).

Ср. в другом месте:

Фактически сумароковцы политики не делали. Им было предоставлено право говорить о ней, но и только. Екатерина усиленно демонстрировала свой интерес к «вольномыслию», к либерализму и этим стремилась подкупить помещичьих либералов; но она уже вскоре после того, как укрепилась на престоле, убедилась, что реально идти путями, указываемыми и Паниным и сумароковцами, и, с другой стороны, например Воронцовыми – это значит потерять корону и, может быть, жизнь, потому что это значит идти против дворянской массы

(Гуковский 1936, 183).

Позиции сторон, то есть «фрондеров-либералов» и «массового дворянства» в полной мере определились во время работы уложенной комиссии, то есть в 1767 г.: первые, как полагает Гуковский, «выступили с требованием ограничения крепостного права», вторая же встретила инициативу «воплем негодования», что «показало правительству» неспособность «либералов-интеллигентов»² увлечь дво-

² Называя «панинскую группу» либеральными интеллигентами, Гуковский, судя по всему, имеет в виду концепцию Р.В. Иванова-Разумника, согласно которой именно готовность отдельных представителей дворянского сословия пожертвовать сословными

рянство за собой (Гуковский 1936, 183–184). В этом контексте Гуковский рассматривает раннюю журналистику Новикова, объявляя его «в значительной мере учеником Сумарокова в литературе» и утверждая, что издатель «Трутня» «готов был блокироваться с передовыми буржуазными идеологами» (Гуковский 1936, 184). «Сумароковцам» «правительство» противопоставило «своих писателей», то есть В.П. Петрова, «продолжателя Ломоносова, поэта придворной знати», и В.Г. Рубана, представлявшего «рептильных щелкоперов» (Гуковский 1936, 185). Окончательно подавил «панинскую группу» «новый руководитель правительства Потемкин», «сумароковцы тщетно пытались протестовать трагедиями, в которых они клеймили тиранию», сам «Сумароков умер опустившимся человеком», при том что из его группы «лишь немногие продолжали работать», как самый упорный из них – Фонвизин (Гуковский 1936, 186–187). Следствием разгрома стало укрепление Державина, «представителя» «не сильно образованной шляхты», то есть той «дворянской массы», которой с самого начала противостояли «сумароковцы», тяготевшего к «кружку придворных дельцов», но при этом заявившего «о своих правах поэта как свободной личности и как трибуна» (Гуковский 1936, 189–190). Сюжет завершается разгромом новиковского кружка (Гуковский 1936, 190–191), а будущее русской литературы уже в это время предопределял «выученик новиковского кружка, Николай Михайлович Карамзин» (Гуковский 1936, 191).

В 1938 г. вышла новая книга Гуковского, в предисловии к которой говорилось, что теперь, то есть после книги 1936 г., в которой было охарактеризовано «мировоззрение Сумарокова и его школы», автор обращается к описанию «демократических течений литературы и общественной жизни второй половины <...> XVIII столетия» (Гуковский 1938, 3). В центр этого «движения» Гуковский выдвигает Радищева, который мыслится им как непосредственный предшественник пушкинского «реализма», а противопоставляет радищевской линии «дворянский сентиментализм», крупнейшими представителями которого мыслятся М.Н. Муравьев (изучение наследия которого было

интересами ради общего блага, то есть выступить с надсловных позиций, была симптомом формирования русской интеллигенции (Иванов-Разумник 1911, 1, 29–36 и др.).

фактически начато именно в данной монографии, что делает ее наиболее ценной во всей этой «серии» из трех книг Гуковского, посвященных XVIII веку), Карамзин и Жуковский (Гуковский 1938, 3–4). Эта схема (от Радищева к Пушкину и от Муравьева к Жуковскому), фиксирующая две линии литературного развития, вплотную подвела к последнему крупному замыслу Гуковского, который он успел реализовать не в полной мере – к его «Очеркам по истории русского реализма», первые две части которых были посвящены Пушкину, а третья, оставшаяся незавершенной, Гоголю (Гуковский 1946 [данное издание, сколько известно, было остановлено на стадии печатания тиража и не выпускалось в продажу; поэтому для большинства читателей Гуковского первым изданием данной книги оказалось позднейшее: Гуковский 1965]; Гуковский 1957; Гуковский 1959). Какая-то часть первой книги этих «очерков» была написана еще до войны (Гуковский 1940; Гуковский 1941). Последней крупной работой Гуковского, в которой были подведены итоги его работы по изучению русской литературы XVIII в. и была отчасти модифицирована / скорректирована, с учетом именно смысловой перспективы «Очерков по истории русского реализма», его концепция, стали его статьи, написанные для десятитомной «Истории русской литературы» (Гуковский 1941а; Гуковский 1947). Здесь вновь говорилось о несовместимости Сумарокова с Ломоносовым («С Ломоносовым Сумароков боролся по всем линиям его творческой программы. Величественная государственная поэзия Ломоносова, в грандиозных образах воплощающая его мечту о будущем России, была неприемлема для сумароковского рационализма <...>» [Гуковский 1941а, 373]). Постановка вопроса о «Трудолюбивой Пчеле» как журнале, объединившем «сумароковцев», сильно смягчена: теперь Гуковский говорит, что Сумароков в нем «выступил не один; он окружен в своем журнале друзьями и даже единомышленниками»; по-прежнему утверждается, что Сумароков был в это время «литературным учителем» некой «группы», но о том, что это была за группа, Гуковский, комментируя «письмо» «К издателю “Трудолюбивой Пчелы”», отказывается судить слишком определенно: «Что это было за “общество” – неизвестно, был ли это литературный кружок при кадетском корпусе, или же группа, начав-

шая <...> издавать “Полезное увеселение” и имевшая центр в Москве, или иная какая-нибудь <...>» (Гуковский 1941а, 381; курсив мой). Это признание, пусть и высказанное по частному поводу, представляется симптоматичным: кажется, Гуковский был готов ослабить звучание своего основного тезиса (но, конечно, не снять его полностью) об ученичестве «херасковцев» у Сумарокова. Впрочем, в другом месте о «херасковцах» говорится в полном соответствии с тем, к чему мы уже привыкли, обсуждая более ранние работы Гуковского: «1750-е годы – время обостренной борьбы Ломоносова и Сумарокова за гегемонию в русской литературе. К концу этого десятилетия ученики Сумарокова <...> образовали целую группу, вскоре отделившуюся от своего учителя и начавшую следующий цикл развития дворянского классицизма в России. Во главе этой группы стоял М.М. Херасков; вокруг него сплотился целый круг писателей: А.А. Ржевский, А.В. Нарышкин, А.А. Нартов, В.И. Майков, молодой И.Ф. Богданович и многие другие» (Гуковский 1941а, 417–418). Звучание темы Панина в судьбе Сумарокова было усилено, ср.: «Группа либералов получила вождя <...>. Сумароков, а за ним и *все его окружение*, оказались сомкнутыми с Паниным» (Гуковский 1941а, 383; курсив мой). Вопросы о том, кто именно входил в «группу Панина» и существовала ли она вообще как нечто политически оформленное, кто именно из окружения Сумарокова вошел вместе с ним в эту группу, по-прежнему специально не обсуждаются. Стратегический союз Панина и Сумарокова, согласно Гуковскому, был заключен в 1762 г., еще при Петре III, подтвержден в ходе екатерининского переворота, а после него Сумароков, получив поощрение от новой императрицы, стал «рупором» панинской партии (Гуковский 1941а, 384–385).

Такова, в общих чертах концепция Гуковского. Она действительно, как не раз отмечалось, в принципе позволяет выстроить историю русской литературы XVIII в. не на формально-хронологическом принципе, а на внутренних основаниях литературной жизни и замкнуть их на идеологию эпохи. В этом отношении она уникальна. Но это не значит, что она адекватна материалу.

Основной ее смысл – деформирование истории литературы на макроуровне за счет локализации Ломоносова и его роли в литера-

турном процессе, а вслед за Ломоносовым – и Хераскова. Сначала Ломоносов и Сумароков противопоставляются на уровне «поэтики», затем – уровне литературной и общественной жизни и идеологии. Заявляется, что «победа» «сумароковской группы» над Ломоносовым есть симптом оформления либеральной аристократии, которая будет вести борьбу с переменным успехом, выдвигаясь на авансцену политического процесса, уступая реакции, но сохраняясь, чтобы в XIX в. переоформиться в «декабристском» и иных контекстах.

Кроме «невежественной дворянской массы» этой прогрессивной группе противостоит та часть аристократии, которая слита с властью, и не слишком разборчивые певцы абсолютизма, и в первую очередь Ломоносов, ср.: «В доме Шувалова происходили столкновения Ломоносова, *корифея придворно-официальной русской литературы*, с Сумароковым, *родоначальником школы искусства независимых дворян-интеллигентов*» (Гуковский 1936, 11); ср.: «Несомненно, в Ломоносове и его литературно-теоретических концепциях были элементы буржуазности, но это, во-первых, были только элементы, а, во-вторых, *они были поставлены на службу высшим аристократическим слоям придворного дворянства*» (Берков 1935, 90; курсив мой).

На следующем шаге вся последующая русская литература обсуждается как находящаяся вне «ломоносовской» нелиберальной сферы, и именно в этой вневходимости усматриваются возможности дальнейшего развития. По этой причине, в частности, Херасков выводится за пределы поля влияния Ломоносова и прочно, как казалось, связывается с Сумароковым как его ученик и последователь.

Зачем это делалось? По крайней мере, одна причина представляется очевидной. Перед Гуковским стояла задача подключения русской литературы XVIII в. к советской культурно-идеологической парадигме. Он должен был не просто обеспечить возможность профессиональных занятий этой литературой, но и оформить единство тех тенденций имперского периода, которые в каком-то смысле были совместимы с советским.

Для достижения этой цели следовало выявить и описать соответствия и параллели между отдаленными друг от друга эпохами – ровно настолько, чтобы идеологически XVIII в. мог быть осмыслен как предыстория того процесса борьбы с абсолютной монархией, кото-

рый начался с «декабристов» и в конце концов привел к пролетарской революции.

Решать эту задачу, выдвигая в историко-литературных построениях на первый план литературную деятельность Ломоносова и Хераскова было невозможно: первый был слишком очевидным образом связан с высшим элитным кругом времен елизаветинского правления и при этом не давал никаких оснований для встраивания в парадигму либерализма; второй, с его неприятием революции, морализмом и мистицизмом, слабо совместимым с «рационализмом Просвещения», в раннесоветском контексте оказывался просто немислим.

Поскольку же речь шла о формировании идеологической матрицы советской истории русской литературы, а в такого рода играх ставки всегда высоки, и при этом они отнюдь не исчерпываются личными расчетами, мало кого могла смутить фактическая подмена той исторической реальности, которая на самом деле была осуществлена именно вокруг имен и творчества Ломоносова и Хераскова (как известно, *советской науке* полагалось *смело пересматривать застарелые догмы* дореволюционной истории литературы). И именно потому, что эту матрицу удалось выстроить на материале XVIII века, возникла возможность ее экспансии в XIX в., в эпоху Пушкина и Гоголя³.

Однако нас здесь интересует не только этот общий смысл «проекта», но и те «частности», на которых он базируется. Назовем основные. Во-первых, в 1936 г. Гуковский, стремясь подчеркнуть остроту противостояния «сумароковцев» «правительству», говорит именно о

³ Как именно была использована эта возможность – отдельный вопрос; здесь напомним лишь, что труды Гуковского не остались невостребованными: так, один из его учеников, писавший в своем роде выдающиеся книги о русской литературе XVIII в., уже в сочинении о Радищеве вслед учителю замкнул «классицизм» на Сумарокова, а «сентиментализм» на Хераскова и его «ученика» Карамзина (Макогоненко 1956, 240, 242,); следующий шаг оказывался – особенно в контексте последних книг Гуковского – абсолютно предсказуемым: Жуковский оформляет «романтизм», Пушкин осуществляет «переход от романтизма к реализму», а Радищев, борющийся с «сентименталистами» оказывается его предшественником (ср., например: Макогоненко 1956, 567). Своеобразную попытку модифицировать и вместе с тем поддержать эту схему предпринял П.А. Орлов, выдвинувший – по аналогии с распространенным в его время делением «романтизма» на «реакционный» и «революционный» – идею двух «сентиментализмов» – «дворянского», «колебавшегося» между «освободительными и охранительными тенденциями» (Херасков, М.Н. Муравьев, Карамзин) и, опять же, «революционного» / «демократического» (Радищев) (Орлов 1977, 30).

Сумарокове и Новикове, но оставляет в стороне тех, кто, выйдя из «школы Сумарокова», как бы длил ее исторический путь, пересматривая «сумароковскую систему» – о Хераскове и его московском окружении. Это понятно: в данном кругу никакой *явной* борьбы с «правительством» не было, а то, что было, сосредотачивалось в глубоких идеологических и мистических контекстах; во всяком случае в деятельности этой группы власть усмотрела серьезную угрозу только на рубеже восьмидесятых и девяностых годов. Во-вторых, явным образом преувеличена оппозиционность Панина: мы можем быть уверены в том, что если бы он действительно боролся с «режимом», демонстрируя неготовность к компромиссам, он не задержался бы на политической сцене; не говорим уже о том, что в этом случае Екатерина II не доверила бы ему воспитание своего сына. В-третьих, осталась не выяснена подлинная роль Сумарокова в этой «сумароковско-панинской группе». Между тем именно статус его в этой «группе» оказался, по-видимому, резко завышен.

Сумароков, Шувалов и Панин: версия А.С. Пушкина

Мы не считаем целесообразным игнорировать те аспекты литературно-общественной репутации Сумарокова, которые зафиксированы культурным преданием. Напомним общеизвестный фрагмент из пушкинского «Путешествия из Москвы в Петербург»:

Сумароков был шутом у всех тогдашних вельмож: у Шувалова, у Панина; его дразнили, подстрекали и забавлялись его выходками. Фон Визин, коего характер имеет нужду в оправдании, забавлял знатных, передразнивая Александра Петровича в совершенстве. Державин из под тишка писал сатиры на Сумарокова и приезжал, как ни в чем не бывало, наслаждаться его бешенством. Ломоносов был иного покроя. С ним шутить было накладно. Он везде был тот же: дома, где все

его трепетали; во дворце, где он дирал за уши пажей; в Академии, где, по свидетельству Шлецера, не смели при нем пикнуть

(Пушкин, 11, 253).

Как видим, Сумароков противопоставлен Пушкиным не только Ломоносову или его «продолжателю» Державину, но и Фонвизину, «сумароковцу», отношение которого к Сумарокову здесь неотлично от державинского. Но еще более важно, что Пушкин указывает на то, что на протяжении десятилетий – от елизаветинских и шуваловских времен к екатерининским и панинским – статус Сумарокова не менялся: и Шувалов, и Панин видели в нем «шута», и за пределы данного амплуа Сумароков выйти не смог.

Конечно, в принципе возможно заявить, что Пушкин оклеветал Сумарокова. Но, во-первых, тогда нужно объяснить, с какой целью он мог это сделать, что затруднительно: в конце концов, он сам был не чужд идеологии «дворянской аристократии», и кроме того, он вряд ли может быть обвинен в сугубой недоброжелательности к Сумарокову, ср. другой общеизвестный и совершенно нетривиальный пушкинский текст:

Сумароков лучше знал русской язык нежели Ломоносов, и его критики (в грамматическом отношении) основательны. Ломоносов не отвечал или отшучивался. Сумароков требовал уважения к стихотворству

(Пушкин, 11, 59).

Во-вторых, Пушкин принадлежал к числу наиболее осведомленных знатоков русской литературной жизни XVIII в.: вряд ли нужно доказывать, что сведения свои он черпал из вполне надежных источников и не упускал случая их проверить, напоминать, что у него была возможность обсуждать эти вопросы с Карамзиным, Жуковским, Вяземским (а последний был тесно связан с И.И. Дмитриевым, много рассказывавшим ему о тех аспектах взаимоотношений литераторов XVIII в. друг с другом и с властью, которые не обсуждались в печати). Следовательно, если настаивать на версии о пушкинской предвзятости, то тогда придется признать, что она была свойственна *всему это-*

му кругу, что совершенно не исключено, но требует объяснения. Наконец, в-третьих, сведения, сообщенные Пушкиным о «шутовстве» Сумарокова, не противоречат принципиально имеющимся в нашем распоряжении данным.

Пушкин упоминает об И.И. Шувалове, у которого, как известно, в елизаветинское время встречались Сумароков и Ломоносов. До нас дошли некоторые свидетельства об этих встречах, частично восходящие к Шувалову. В этих свидетельствах две стороны. Первая, важнейшая, касалась собственно литературных занятий, которым придавалось первостепенное значение:

Того же времени соперником Ломоносова был Сумароков. Шувалов часто сводил их у себя. От споров и критики о языке они доходили до преимуществ с одной стороны лирического и эпического, с другой драматического рода, а собственно каждый своего, и такие распри опирались иногда на приносимые книги с текстами. Первое, в языке, произвело его задачу обоим, перевод оды Жана-Батиста Руссо на счастье; по второму Ломоносов решился написать две трагедии

(Тимковский 1874, 1453).

Ср. в более раннем тексте, основанном на записках кн. Ф.Н. Голицына:

В то время Ломоносов и Сумароков были законодателями нашего Парнасса; но <...> не были между собою друзьями. Оба <...> состязались в пении, избирая иногда одни предметы, чему находим пример в переводах Руссовой оды *на счастье*. От соревнования дошло до соперничества, потом до раздора; составились две партии, каждая предлагала свои правила. Публика приставала то к той стороне, то к другой; вкус читателей не получил еще изящной образованности <...>. В таком состоянии словесности <...> как важно присутствие мудрого и беспристрастного судии! Но сей мудрый, сей беспристрастный судия был – Шувалов, громкие оды Ломоносова и трагедии Сумарокова заслужили венцы современников <...>

(Папкович 1818, 410–411).

Вторая же, как будто менее значимая, отражала существенные аспекты личных отношений поэтов друг с другом и с их покровителем; продолжим цитировать рассказы Шувалова:

В спорах же чем более Сумароков злился, тем более Ломоносов язвил его; и если оба не совсем были трезвы, то оканчивали ссору запальчивою бранью, так что он высылал или обоих, или чаще Сумарокова. Если же Ломоносов занесется в своих жалобах (говорил он), то я посылаю за Сумароковым, а с тем, ожидая, заведу речь об нем. Сумароков, услышав у дверей, что Ломоносов здесь, или уходит, или подслушав, вбегает с криком: не верьте ему, ваше превосходительство, он все лжет; удивляюсь, как вы даете у себя место такому пьянице, негодяю. – Сам ты подлец, пьяница, неуч, под школой учился, сцены твои краденые! – Но иногда мне удавалось примирить их, и тогда оба были очень приятны

(Тимковский 1874, 1453–1454; впервые: Москвитянин. 1852. Кн. 2. № 20. С. 59–60; см. также: Бартенев 1857, 16–25).

Здесь уже заметно, что Шувалов, развлекаая себя и своих гостей перепалками поэтов, отнюдь не склонных ограничиваться «приятными и полезными» беседами, совмещал роль своеобразного провокатора (которой вовсе ею не тяготился, поскольку и через много лет с нескрываемым удовольствием вспоминал о том, как он устраивал скандальные встречи поэтов) с ролью миротворца, ценящего приятную беседу⁴. Но для того чтобы на протяжении долгого времени вести довольно сложную игру, ему приходилось учитывать социальный статус поэтов и «играть» не только с их темпераментами, но и с их социальной психологией. Ломоносов – человек «подлого» происхождения⁵, а для выходца из низов проблема обретения социального ста-

⁴ Ср. подчеркнуто нейтральный комментарий П.И. Бартенева: «Иван Иванович любил сводить его <Сумарокова> с Ломоносовым и слушать их споры, не редко слишком запальчивые» (Бартенев 1857, 23).

⁵ Данное обстоятельство неоднократно отмечалось как существенное (хотя и не решающее) для понимания его поведения, судьбы и социальной репутации, напр.: «Ломоносов, как ученый, занятый делом, как человек серьезный, а притом не богатый и не дворянского рода, не принадлежал к большому кругу, как Сумароков» (Дмитриев 1869, 6). Ср. еще: «– Неужели и в литературе ничего не было национального? — перебила Александра Ивановна. / – Я в литературе не мастер, но и русская литература, по-моему, вся не русская,

туса имела исключительно важное, если не ключевое в социальном контексте, значение; к тому его положение в Академии наук было непрочным: у него было там слишком много врагов, которые, скорее всего, быстро нашли бы способ сильно его потеснить или даже расправиться с ним, отступись от него Шувалов. Сумароков – дворянин, и для него на первом плане вопросы личной чести и внутрисословного равенства. Он и ведет себя в высшем обществе как равный, освоив стиль свободного светского разговора, но постоянно срывается в патетику и склонен к вспышкам гнева. Ему, с одной стороны, предлагается роль равноправного собеседника, столь для него желанная, но одновременно этот крайне чувствительный к вопросам личной чести человек, в какой-то мере осознающий, как и Ломоносов, свою зависимость от Шувалова, все время оказывался на грани бесчестия: именно Сумарокову была отведена роль шута, то отдалявшаяся от него, то вплотную приближавшаяся к нему: бесчинства Ломоносова «оправдывались» его происхождением (странно было бы ожидать от «мужика» светской образованности), безумства Сумарокова его компрометировали и подталкивали к активизации «шутовской» парадигмы, что и было зафиксировано Пушкиным. Далее, Ломоносов и Сумароков оба поэты, причем крайне самолюбивые, и на их самолюбии также можно было играть, поскольку только от Мецената (или главным образом от него) зависела их литературная репутация при дворе, и именно он, любивший стравливать их друг с другом, имел возможность последнего литературного приговора; они же, соревнуясь друг с другом, должны были все время добиваться расположения Мецената. Так Шуваловым, впервые в русской культурной истории, была построена гибкая и надежная модель властного контроля над литературным пространством, опиравшаяся на несложный, но вполне точный социально-психологический анализ⁶.

кроме разве Ломоносова, Пушкина и Гоголя. / – Во-первых, это не мало, а во-вторых, один из народа, а другие два – помещики, – засмеялась Аделаида» (Достоевский, 8, 276).

⁶ Отдельный вопрос, который здесь не рассматриваем, – понимали ли Ломоносов и Сумароков игру Шувалова, как именно ее интерпретировали в разные периоды времени и пытались ли что-либо ей противопоставить. Отметим лишь, что в случае Ломоносова ответ на этот вопрос (или, по крайней мере, на его первую часть) с большой долей вероятности может оказаться положительным. Об этом косвенно свидетельствует часто цитируемое письмо Ломоносова к Шувалову от 19 января 1761 г., в котором он заявляет о

Вернемся к пушкинской версии. Если она имеет право на существование, а мы видим, что это именно так, тогда сама постановка вопроса о «партии Сумарокова – Панина» оказывается проблематичной. Шутов не назначают на роль идеологов и не приближают к себе всерьез. К сожалению, в нашем распоряжении нет источников, позволяющих уверенно описать личные взаимоотношения Сумарокова и Панина, как нет и свидетельств о том, что Панин основывал на литературной деятельности Сумарокова какие бы то ни было политические расчеты.

Конечно, зафиксировав здесь пушкинские представления о социальной роли Сумарокова, мы не готовы ограничиться временами Елизаветы и Шувалова, уклоняясь от обсуждения отношений Сумарокова с Паниным. И в силу этого мы не можем обойти молчанием недавнюю статью, посвященную этим отношениям и озаглавленную «Значение дружбы с Н.И. Паниным для творчества А.П. Сумарокова». Статья заканчивается довольно неожиданным в данном контексте упоминанием о Пушкине:

Дружеские отношения с Паниным, способствующие политическому росту Сумарокова, постепенно превратили его в поэта совершенно особого толка. Перед нами впервые является поэт, владеющий благодаря своему положению сведениями, другим недоступными, и обзоревающий события с иной перспективы, чем его многочисленные собратья по перу. В этом смысле он представляется фигурой чуть ли не исключительной в русской культуре. <...> Сумароков занял в Екатерининское время место, которое хотел бы, кажется, занимать Пушкин, – место поэта, стоящего не вдалеке от двора, знакомого с лучшими государственными умами и с высоты своего положения говорящего о судьбах России

(Алексеева 2017, 80).

Не останавливаясь специально на отличиях нашей позиции от точки зрения автора этой статьи (мы, в частности, не знаем, каким реаль-

нанесенной ему Шуваловым «обиде» (Шувалов попытался помирить его с Сумароковым), отказывается играть шутовскую роль и настоятельно советует Шувалову оставить миротворчество ради более важных дел «для пользы отечества» (Ломоносов АН 2, 10, 545–547).

ным содержанием могут быть наполнены как формула о «политическом росте Сумарокова», так и утверждение о том, что он обладал «сведениями», недоступными «собратьям по перу»: на наш взгляд, сочинения Сумарокова, в том числе цитирующиеся в занимающей нас сейчас статье, не содержат никакого политико-идеологического эксклюзива), считаем возможным указать на два обстоятельства, имеющие более существенный характер. Во-первых, «место поэта, стоящего невдалеке от двора, знакомого с лучшими государственными умами и с высоты своего положения говорящего о судьбах России», желали занять очень многие (но, конечно, не все) русские поэты в диапазоне от Ломоносова до Карамзина, Жуковского, Пушкина и даже, видимо, Гоголя (разумеется, в каждом конкретном случае неизбежно обсуждение тонких деталей социальной позиции). Во-вторых, насколько известно, никто из них не рассматривал опыт Сумарокова как образец или руководство к действию и менее всего, видимо, именно Пушкин, отзыв которого о Сумарокове, уникальный по резкости, мы здесь пытаемся обсуждать.

В этой ситуации нам придется обратиться к тем двум общеизвестным источникам, которые прямо характеризуют личные отношения Сумарокова и Панина, то есть к единственному опубликованному до сих пор (а может быть, и единственному сохранившемуся) письму первого ко второму и ответу на него, а также к запискам С.А. Порошина: нам важно уяснить, насколько данные, которые мы в состоянии извлечь из этих первостепенной важности источников, противоречат пушкинской версии.

Сумароков – Панину, 15 апреля 1770 г.:

Сиятельнейший граф, милостивый государь!

Без нужды я к вашему сиятельству не пишу, а что я в некоторой нужде дерзаю ваше сиятельство утруждать, в этом всепокорнейше прошу прощения.

Ныне есть еще нуждица, но для того человека, кому добро сделать хочу, не нуждица, но самая большая нуждица, хотя между Ц и Щ разность и мала. Молодой и здоровый, а притом добрый и проворный мужик у меня сошел с ума. С Брылкиным я знакомства не имею, ибо я хотя и на той улице живу, где церковь Симеона Столпника, в оную

церковь не ездю по недостатку времени. А в оной церкви чудотворный образ Дмитрия Ростовского, который зачал делати чудеса в доме его превосходительства тайного действительного советника И<вана> Анофр<иевича>. Следовательно, ни молитва моя, ни прошение ни у святителя, ни у действительного и проч. приняты не будут. Я же и имя Дмитрия несколько раздражил, ибо я сочинил ныне трагедию «Дмитрия Самозванца». Так я вместо молебна с<вятителю> Дмитрию и вместо прошения Брылкину прошу его императорское высочество и ваше сиятельство: покажите милость и прикажите сего моего человека в госпиталь принять. Ежели б сей человек был не бешен, но только без ума, так бы и лечить его было не надобно. Ибо на что такому человеку ум, когда и многие судьи, не имея ума, дело свое порядочно исправляют, да еще и наживаются. А я, кажется, с ума еще и не сошел, однако от положенных на меня дел кроме бедности ничего не нажил.

Вашего высокографского сиятельства, милостивого государя, всепокорнейший слуга

Александр Сумароков.

15 апреля 1770, Москва.

Человек от горячки повредился; так он до Дольгауза не надлежит. А в деревнях лекарей нет, да и в городах мало. Это страшно.

(Письма 1980, 141; комментарий В.П. Степанова: 213).

Ответ Панина, датированный 4 мая, В.П. Степанов приводит по сохранившемуся отпуску:

Государь мой, Александр Петрович! Препровождая сим письмо к Ивану Анофриевичу под открытой печатью, имею честь ваше превосходительство уверить, что больной ваш человек, конечно, в госпитале принят будет, если только болезнь его излечима, ибо по установлению больницы не принимаются в оную те, которые подвержены неизлечимым болезням. Сохраняя навсегда взаимную нашу древнюю дружбу, пребываю с отличным почтением»

(Письма 1980, 213).

Здесь же публикатор указал, что фраза о древней дружбе возникла не сразу, а была вписана Паниным «по зачеркнутому писарскому тексту: “сохраняя к достоинствам вашим истинное почтение”».

На какие выводы уполномочивают тексты этих писем? Современный исследователь считает, что «шутливый, даже игривый тон письма» Сумарокова и его ирония «в отношении иконы святителя Димитрия Ростовского, и самого святителя, и даже молитвы» свидетельствует о его дружеских отношениях с Паниным: «Так пишут друзьям, с которыми многое обговорено, в уверенности быть правильно понятыми» (Алексеева 2017, 42). При этом Н.Ю. Алексеева обращает внимания на первую фразу сумароковского письма, из которой следует, что «без нужды» Сумароков к Панину «не пишет» и комментирует ее следующим образом: «Между ними был особый род дружбы – большая дистанция отделяла главу русской дипломатии от писателя, проживавшего тогда на покое в Москве. Однако дистанция видимо не мешала им в свое время вести разговоры, быть до известной степени откровенными друг с другом» (Алексеева 2017, 42). Мы далеки от намерения обсуждать значение непростого слова «дружба», однако мы не уверены в том, что оно означает именно готовность разговаривать «до известной степени откровенно» и поддерживать отношения по мере того, как возникает «нужда». Но дело даже не в этом: возвращаясь к вопросу о слоге сумароковского письма, отметим, что важно не только то, как оно написано, но и то, как на него было отвечено. Бросается в глаза, что Панин *не поддерживает* взятый Сумароковым тон непринужденной болтовни, отвечая по существу вопроса в официальном стиле, а когда решает несколько смягчить этот стиль упоминанием о «дружбе», то связывает ее с планом неопределенного прошлого. Конечно, мы не вправе делать далеко идущие выводы на основании случайным образом сохранившихся двух писем, не зная других: возможно, эти другие и содержали что-то соответствующее сумароковскому игровому эпистолярному слогу, но ведь для такого предположения у нас нет, за отсутствием этих других, никаких оснований. А пока это так, мы вынуждены ограничить себя уже сказанным: в единственном известном нам письме к Сумарокову Панин игнорирует заданный его корреспондентом непринужденный тон то

ли дружеской, то ли просто светской (не умеем в данном случае провести границу) непринужденной болтовни, не без труда удерживаясь при этом на грани официоза.

При этом мы не ставим под сомнение факт «древней дружбы» Сумарокова с Паниным, о которой упоминает последний. Мы, повторим, лишь считаем правильным отметить, что мы о ней ничего не знаем. Собственно, единственным свидетельством о том времени, когда они встречались и разговаривали, остаются записки Порошина. Приведем несколько выразительных цитат из этого источника:

21 сентября 1764 г.: «Обедал у нас Александр Петрович Сумароков. Его Высочество весьма забавлялся, как он описание делал о г. Емине и о его с ним ссоре, также о бывших его побранках с обер-маршалом Сиверсом»; 19 января 1765 г.: «Сели мы за стол. Обедали у нас <...> господа новоприезжие и еще генерал-поручик Веймарн, Александр Ильич Бибиков, Александр Петрович Сумароков и Карл Федорович Круз. Говорил почти только (один) Александр Петрович с обыкновенною своею беглостью и остротою. Рассуждал о кулачных боях, о подъячих, о авторах, о стенах Иерусалимских (bon mot ego), о обновлении храма и проч. Его Превосходительство Никита Иванович разговорами его очень много веселился»; 26 апреля 1765 г.: «За большим столом из посторонних Елагин, Сумароков и Строганов. Брань у Елагина с Сумароковым. Никита Иваныч на силу прекратил»; 3 августа 1765 г.: «Перед кушаньем Его Превосходительство Никита Иванович читал из «Трудолюбивой Пчелы» г. Сумарокова сочинение о копистах, и очень много смеялся»; 12 августа 1765 г.: «Обедали у нас сегодня г. Салдерн, Иван Перфильевич Елагин, Александр Петрович Сумароков, и камер-юнкер Талызин. Александр Петрович смирен был. Поговорил только несколько о безграмотстве и о плутнях подъячих»; 19 сентября 1765 г.: «Сели мы потом за стол. Из посторонних обедали у нас только Александр Петрович Сумароков и камер-юнкер Бибиков. От Александра Петровича много мы слышали замысловатых шуток. Острота его и говорливость известны довольно; особливо два его сравнения понравились Государю Цесаревичу. За столом еще сидя, давал мне знать о том Его Высочество пантомимами. Его Превосходительство Никита Иванович рассуждал, сколь вредитель-

но из середины государства выводя жителей, селить их на границе; а еще, что отечество ваше пространно, а жителей мало. Александр Петрович землю, которая по границам населена только, а в середине пуста, сравнивал с пирогом неначиненным; а такую землю, которая пространна, и малолюдна, сравнивал он с большою табакеркою, в которой табаку мало. Вот сравнения, коими веселился Государь Цесаревич. Его Высочеству хотелось рассердить Александра Петровича; для того изволил он упоминать о сочинениях Лукина; однако Александр Петрович от сердца удержался» (Порошин 1881, 4, 244, 312, 372, 391, 435–436).

На наш взгляд, эти записи ничего не дают для продолжения разговора о «дружбе» Сумарокова и Панина. Зато их отношения окрашиваются в тона, которые в принципе соответствуют или, как минимум, не противоречат содержанию приведенной выше пушкинской заметки о Сумарокове-«шуте». Мы видим, что цесаревич «весьма забавляется» разговорами Сумарокова, иногда сопровождая их гримасами, и вновь «веселится» его «сравнениями», настолько, что (по крайней мере, один раз) пытается его «рассердить», чтобы продлить забаву; что Панин также «много веселится», разговаривая с ним или «очень много смеется», читая его статью; что Сумароков выступает в роли салонного болтуна, иногда сбивающегося на социальную тему и не всегда владеющего собой в обществе Елагина, с которым враждует, и которого, зная о возможной реакции Сумарокова, приглашают в одно время с ним, как некогда Шувалов приглашал к себе одновременно Сумарокова и Ломоносова. Это почти все, что содержат записки Порошина. Мы не привели здесь только записи о двух разговорах Панина с Сумароковым, выдержанных в иной тональности, но практически ничего не прибавляющих к нашей теме, малоинформативные упоминания о Сумарокове, а также разговор о Ломоносове и Сумарокове, в котором последний не принимал участия и к которому нам еще предстоит вернуться.

Здесь остановимся и повторим: у нас нет оснований для того чтобы объявить пушкинский текст исторически неадекватным, а косвенные подтверждения пушкинской правоты, как видим, обнаруживаются без труда. Что делать: Сумароков хотел играть одну социальную

роль, а сыграл другую (что, понятно, никак не компрометирует его литературные заслуги).

Теперь обратимся к доступным нам фактам, отражающим восприятие Гуковского и его историко-литературной концепции в филологической среде его времени.

С.М. Бонди

В 1935 г., когда Гуковский заканчивал работу над своей книгой, которая выйдет в 1936 г. и которую мы уже обсуждали, увидела свет большая статья Бонди, послужившая предисловием к изданию избранных сочинений Третьяковского в считавшейся престижной серии «Библиотека поэта» (Бонди 1935; недавнее переиздание: Бонди 2013, 14–116). Обсуждая трех поэтов и их творческие возможности и при этом не скупясь на оценочные характеристики, Бонди не мог полностью отрешиться от историко-литературного аспекта их деятельности, а поскольку собственных разработок в этой области он не имел (гораздо больше его интересовал «стихovedческий» аспект его темы), он обратился к уже существующим исследованиям. То, что получилось в результате, производило впечатление компиляции, причем вдвойне странной: во-первых, она выглядела сильно запоздавшей, во-вторых, в каком-то смысле слишком радикальной, поскольку в ней Тынянов, ключевая фигура «опояза», и Гуковский, на него опиравшийся, оказались соотнесены с М.Н. Покровским, марксистским историком, который задолго до революции обсуждал проблематику, которой будет посвящена книга Гуковского 1936 г.

Заявив, что «исследования последних лет (Гуковского, Тынянова) обнаружили серьезную и упорную борьбу двух литературных направлений, кончившуюся победой сумароковской школы» (Бонди 2013, 50), Бонди кратко изложил концепцию Гуковского по его книге 1927 г., после чего счел нужным подчеркнуть, что она охватывает *все* «основные факты борьбы Сумарокова и его направления с Ломо-

носовым» (Бонди 2013, 50–51)⁷. В этот момент могло показаться, что в рамках соответствующей проблематики Бонди готов ограничиться скромной ролью апологета и эпигона, причем несколько забавного, если принять во внимание, что со времени отреферированной им книги Гуковского прошло почти десять лет. Но далее последовало:

В чем же состояло литературное направление Сумарокова и его школы и чем была обусловлена его победа? Нам кажется, что правильное и полное объяснение может дать только обращение к той борьбе социальных групп, которая шла в то время в России

(Бонди 2013, 51).

Вся благостная картина, которая вроде бы уже выстроилась, оказалась смазана. Во-первых, выяснилось, что приведя «основные факты», Тынянов и Гуковский не смогли предложить такое их объяснение, которое было бы «правильным и полным». Во-вторых, в подтексте читалось и другое, столь же, а может быть и гораздо более болезненное для Гуковского обвинение в «формализме»: он ведь избегал до сих пор обсуждать «борьбу социальных групп», а потому, очевидно, и смог предложить только *неправильное и неполное* «объяснение» «фактов»⁸.

⁷ Не исключено, что эта комплиментарность отзыва Бонди была следствием общей установки редакции на сотрудничество литературных сил; кроме того, к участию в подготовке тома были приглашены и Гуковский, и П.Н. Берков; насколько можно понять, они не имели возможности влиять на содержание статьи Бонди. О том, как они его воспринимали, можно судить, в частности, по комическому эпизоду, который передает в своих воспоминаниях Л.М. Лотман: «Во время экзамена <...> мы еще не были <...> знакомы с П.Н. Берковым, который ассистировал Гуковскому и довольно строго спрашивал студентов. Моя подруга <...> сделала “роковую” ошибку. Рассказывая на экзамене о работах Бонди и со слов Гуковского критикуя эти работы, она боялась назвать фамилию их автора, так как смертельно испугалась Беркова, приняв его за Бонди. Берков с присущей ему дотошностью стал спрашивать, кто автор этих работ, и Нелли в страхе шепотом сказала: “Вы!” “Нет, – сказал Берков, – это не мои статьи, а Бонди”. “Так вы же и есть Бонди”, – возразила вконец растерявшаяся студентка, и Берков вынужден был пояснить: “Нет, я Берков!” Самое странное состояло в том, что испуганная Нелли продолжала настаивать: “Нет, вы Бонди”. Этот анекдотичный случай рассмешил присутствовавших <...>» (Лотман 2002, 46).

⁸ Любопытно, что в дальнейшем за «формализм» неоднократно пенял Гуковскому не кто иной, как Берков, причем в последний раз эти пени он повторил в эпоху, когда в них не было никакой внешне обусловленной необходимости (Берков 1964, 188).

Тут же утверждалось, что эта «борьба социальных групп» уже была адекватно описана, причем давно, задолго до революции, в книге М.Н. Покровского «История России с древнейших времен» (Покровский 1910–1913). И далее Бонди излагает концепцию Покровского, которая сводится к следующему: основной политической процесс XVIII в. – борьба «новой феодальной знати», выдвинутой Петром I и при нем опиравшейся на «буржуазию», и среднего родового дворянства, требовавшего политических прав и свобод; каждая из двух этих социальных групп пыталась ограничить власть монарха: «верховники» для того, чтобы обезопасить себя от удара «сверху» и развязать себе руки в отношении низших социальных групп, «шляхетство» – для того чтобы получить возможность отеснить «верховников» и освободиться «от тяжестей службы торговому капиталу»; брожение дворянства и его попытки организовать новый заговор прекратились только после пугачевского восстания (Покровский 1910–1913, 1–80, 121–124; ср.: Бонди 2013, 51–52). От этой схемы (заслуживающей, быть может, отдельного обсуждения) Бонди переходит к литературному процессу интересующей его эпохи:

Борьба Сумарокова и его школы за литературную гегемонию и явилась отражением в литературе борьбы среднего дворянства за господствующую роль в стране. Не даром плебейским именам Ломоносова и его последователей Голеневского и Поповского сумароковская школа противопоставила дворянские фамилии Сумарокова, Хераскова, Нарышкина, Ржевского, Карина, Майкова и др. В соответствии с усилением политического могущества среднего дворянства шло и усиление их влияния в культурной жизни, в частности в литературе, которой они, в конце концов, и овладели всецело почти на целые сто лет, так что Пушкин в 30-х годах XIX века имел полное основание говорить вслед за французской писательницей Сталь, что в России «словесностью занимались большею частью дворяне»

(Бонди 2013, 52).

Так выяснилось, что Тынянов и Гуковский, обсуждавшие борьбу «двух школ» на уровне собирания «основных фактов», не сказали, в сущности, ничего нового по существу вопроса.

Это был, в принципе, довольно сильный удар, нанесенный способом, понятным для специалистов, вовлеченных в обсуждение соответствующей проблематики: прочие должны были увидеть в этой части статьи Бонди только вялое следование по известным путям или даже стремление «встроиться» в актуальные «тренды» – марксистский и (пост)формалистский. Впрочем, правильнее сказать, это *был бы* сильный удар, если бы не стремление Бонди тактически (?) опереться на Покровского: выдвинутый при жизни на роль главного советского историка, после смерти он быстро утратил актуальность, а в середине тридцатых годов, то есть именно тогда, когда печаталась статья Бонди, его наследие уже начинало осмысляться тогдашними культуртрегерами как обременительное; 26 января 1936 г. последовало постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР, в котором «школа Покровского» была заклеена как «антимарксистская», «антиленинская», «антинаучная»; пройдет еще несколько лет, и он будет окончательно сброшен с пьедестала (см. Покровский 1939–1940). С другой стороны, концепция, изложенная в книге Гуковского 1927 г., в 1936, то есть через год после публикации статьи Бонди, будет скорректирована и дополнена самим Гуковским, который в кратком предисловии к ней отнесет создание первой концептуальной главы ее к 1930 г. (Гуковский 1936, 4); соответствующим образом попытка Бонди реанимировать модель Покровского в 1935 г. оказывалась неадекватной, тем более, что Гуковский, не упоминая ни о Бонди, ни о Покровском, выстроил собственный образ социального процесса XVIII в., во многом полемический по отношению к ним обоим, и прежде всего по отношению к Бонди: если последний, как мы видели, считал Сумарокова представителем среднего дворянства, то Гуковский противопоставил «панинскую группу» «либеральных аристократов», «рупором» которой он называл Сумарокова, этому среднему дворянству, как и вновь оформившейся «впервые после Петра» «группе правительственных дельцов, сверхмагнатов и чиновников» (Гуковский 1936, 8–9), певцом которой он считал Ломоносова.

«Поправки» П.Н. Беркова

В 1952 г. вышла в свет книга очень крупного знатока русской литературы XVIII в. П.Н. Беркова «История русской журналистики XVIII века». К этому времени Гукковского уже не было в живых, и по этой причине, а также потому, что дни свои он закончил в лефортовской тюрьме, полемика с ним была крайне затруднена, а Берков не принадлежал к числу тех, кто готов был пренебрегать подобного рода обстоятельствами после долгих лет знакомства и сотрудничества. Однако и уклониться от полемики он не мог: в противном случае ему пришлось бы признать правоту Гукковского, а для этого он не видел никаких оснований. Берков написал следующее, не называя имени покойного исследователя:

Особый интерес представляет собственно литературная позиция «Полезного увеселения», которое обычно считают журналом последователей Сумарокова. Это мнение могло считаться более или менее правильным тогда, когда в русской литературной жизни 1750-х и 1760-х годов видели борьбу только двух литературных группировок — «ломоносовцев» и «сумароковцев».

Однако было бы ошибочно считать «Полезное увеселение» органом последователей Сумарокова.

«Полезное увеселение» было органом «херасковцев», представлявших дальнейший этап в развитии дворянской общественной мысли в 60-х годах XVIII в. Для вождя этой литературной группы, Хераскова, и через него для всей его «школы» творчество Ломоносова и Сумарокова характеризует лишь начальные шаги развития русской литературы.

<...>

Конечно, Херасков открыто не противопоставляет себя и свою группу Сумарокову. Напротив того, он заботится об участии Сумарокова в журнале: так, в № 2 «Полезного увеселения» за 1760 г. помещены для сравнения сделанные Ломоносовым и Сумароковым переводы оды Руссо «К фортуне» (стр. 17—28); побывав в начале 1761 г. в Петербурге (Полезное увеселение, 1761, ч. III, стр. 168), Херасков получает у Сумарокова 8 притч, которые и напечатаны в «Полезном увеселении» (стр. 161—167); при всяком удобном случае Сумароков берется в «По-

лезном увеселении» под защиту, а его противник (литературный и общественный)—Ломоносов—подвергается нападкам.

<...>

Но если Херасков и его группа не противопоставляли себя Сумарокову, то все же расхождение и обособление у обеих сторон были. Обращает, например, на себя внимание тот факт, что в течение 1760 г. Сумароков печатается не в «Полезном увеселении» (перевод из Руссо не показателен), подобно другому Петербургскому писателю А. Нартову, а в «Праздном времени в пользу употребленном». В 1761 г., кроме упомянутых выше 8 притч, привезенных из Петербурга Херасковым, Сумароков не дал в «Полезное увеселение» ничего; так же и в 1762 г. С другой стороны, группа «Полезного увеселения» коренным образом расходилась с Сумароковым во взглядах на задачи журнала

(Берков 1952, 132–135).

Мы не останавливаемся здесь на обсуждении деталей осуществленного Берковым анализа литературной и идеологической позиции «Полезного увеселения»; во избежание недоразумений отметим лишь, что этот анализ отнюдь не представляется нам в полной мере удовлетворительным. Но сейчас дело не в этом: нам важно отметить, что Берков сказал главное: «сумароковцы» на самом деле были «херасковцами» и, соответственно, никакой «своей группы» у Сумарокова не было.

При этом Берков обсуждает именно тот материал, который рассматривал и Гуковский. В частности, вслед за Гуковским он напоминает и о публикации в «Полезном увеселении» перевода из Руссо, но справедливо отмечает, что он «не показателен», и о публикации восьми сумароковских притч, чуть ниже оговаривая уникальный характер этой публикации, а вместе с тем осторожно замечает, что именно Херасков, который «открыто не противопоставляет себя и свою группу Сумарокову», а не Сумароков был ее инициатором (Берков 1952, 133).

Успел ли Гуковский ознакомиться с критикой Беркова? В этом трудно сомневаться: они не только были знакомы, но и поддерживали постоянные профессиональные контакты, внимательно следили за публикациями друг друга; в отдельных случаях полемизировали друг с другом в академической печати. В предисловии к книге Гуков-

ского 1936 г. Берков фигурирует в списке тех, кого Гуковский благодарит «за дружеские советы» (Гуковский 1936, 4). Далее, в 1940 г. Берков выступил с рецензией на вышедший годом раньше учебник Гуковского (Гуковский 1939), и в этой рецензии, в целом апологетической, заявил, что книга Гуковского – «это и вполне свежий и оригинальный научный труд, и, в то же время, учебник для студентов» (Берков 1940, 103), высказал ряд замечаний вполне принципиального характера. Одно из них, касающееся нашей темы напрямую, звучало так:

Г.А. Гуковский сознательно ограничил это литературное течение <Берков говорит о «классицизме»> «школой Сумарокова», а все, что не входило в созданную им схему, молчаливо обходилось или получало не всегда удовлетворительное объяснение.

<...>

Ошибочно также проведенное через всю книгу, нигде, впрочем, не сформулированное утверждение, что посмертный Ломоносов не играл никакой роли в прогрессивном развитии русской литературы. В изображении Гуковского Ломоносов велик и плодотворно действителен, пока жив; но вот он умирает, Екатерина и придворные литераторы делают его иконой для более успешной борьбы с дворянской оппозицией, возглавляемой Сумароковым, <...> и как активная величина он перестает существовать. Между тем <...> и Фонвизин, и Княжнин, и Державин (особенно Державин), и Радищев, <...>, и молодой Крылов не «отталкиваются» от Ломоносова, а питают в какой-то мере свое творчество ломоносовской струей.

Неверно также изображение «школы Сумарокова» как единой, целостной и компактной. <...> Можно смело утверждать, что В. Майков – правое крыло «школы Сумарокова», а Новиков – несомненно левое, радикальное. Херасков, например, настолько быстро вышел из орбиты влияния Сумарокова, что и сам он, и глава школы, и современные литераторы ощущали его как стоящего вне школы

(Берков 1940, 104).

Итак, по Беркову, «русский классицизм» и «сумароковская школа» не могут отождествляться, а последняя не была внутренне единой. Как видим, в 1940 г. он не отрицает самого существования этой «школы», но считает, что как ее роль в литературном процессе эпохи, так и ее внутренняя структура описаны Гуковским неверно. При этом

он подчеркивает значение Ломоносова не только для Державина или Радищева, далеких от «сумароковского направления», но и для Фонвизина, которого, как мы видели, Гуковский зачислял в ряды «сумароковцев». Наконец, главное: Берков заявил, что Херасков фактически не имел отношения к «школе Сумарокова». Все это, взятое вместе, если не дискредитирует концепцию Гуковского в полной мере, то во всяком случае требует ее полной перестройки. Ясно ведь, что как только мы исключаем Хераскова из числа «сумароковцев», с ним вместе «уходит» практически весь его круг, поскольку кругу этому он значительно ближе, чем Сумароков, ближе и эстетически, и идеологически, и социально-психологически; соответствующим образом полностью исчезают и без того призрачные основания для отождествления понятий «школа Сумарокова» и «херасковская группа»: первая оказывается фикцией.

Некоторые дополнительные суждения Берков высказал в книге 1964 г., подводившей какие-то итоги прежних полемики и посвященной памяти Гуковского. В частности, Берков остановился на вопросе о предыстории концепции Гуковского, и то, как именно он это сделал, заставляет предположить, что ее обсуждение могло содержать некоторые неизвестные нам эпизоды, отмеченные исключительной остротой. Вот яркий фрагмент, показательный в данном отношении:

<...> Герцен обнаружил в своей книге «О развитии революционных идей в России» знание и правильное понимание таких явлений общественно-политической жизни XVIII в., которые лишь в советское время привлекли внимание исследователей, вероятно, независимо от Герцена. Здесь имеется в виду его отношение к тому течению дворянской политической мысли второй половины XVIII в., которое Г.А. Гуковский назвал «дворянской фрондой» <...>. Первым указал на это явление Герцен, притом задолго до выхода в свет книги П.С. Лебедева «Графы Никита и Петр Панины» (СПб., 1863). Характеризуя движение декабристов, Герцен затронул вопрос об оппозиционных течениях в русской истории: «Это <движение декабристов> была первая поистине революционная оппозиция, создававшаяся в России. Оппозиция, встреченная цивилизацией в начале XVIII столетия, была консервативной. И даже та, которую образовали в царствование Екатерины II несколько вельмож, подобно графу Панину, не выходила из

круга строго монархических идей: порою она бывала энергичной, но всегда оставалась покорной и почтительной»

(Берков 1964, 91).

Попытка Беркова замкнуть Гуковского на Герцена выглядит немотивированной: Герцен ничего не говорит о «партии Панина», он лишь констатирует наличие «нескольких вельмож», настроенных оппозиционно. Однако эта параллель с Герценом должна была представляться Беркову в каком-то смысле спасительной: дело в том, что книга Лебедева, о которой он упоминает тут же, была написана с радикально-монархических и славянофильских позиций. Лебедев не просто осуждал Панина за свободомыслие, но представил его если не злодеем, но мстительным и развратным интриганом, настраивавшим наследника престола против императрицы, и противопоставил Потемкину, которого наделил всеми качествами идеального героя. А выстроив этот образ, он, во-первых, включил его в выразительный ряд исторических персонажей того же типа, и Панин оказался соотнесен с Меншиковым, Бироном, Платоном Зубовым и Аракчеевым (Лебедев 1863, 14), а во-вторых, заявил, что с Паниным и его «партией» Екатерина II «боролась <...> целую жизнь, потому что эти властолюбцы, подстрекаемые прусским королем, шли против нее открыто и надеялись посредством Павла Петровича, ограничить ее влияние на дела России» (Лебедев 1863, 156).

Как видим, здесь не только намечена та модель, которая (разумеется, с переменной отрицательной оценки на положительную и с соответствующей косметической доработкой) оказалась востребована Гуковским, но и выдвинут специфический контекст европейских – прусских – связей Панина в качестве источника его политической стратегии.

Даже если отрешиться от этого контекста, ситуация выглядела умопомрачительно: источником концепции, выдвинутой советским ученым, оказалась книга семидесятилетней давности, причем написанная пламенным реакционером, а ее специфически реакционный характер был отмечен уже более либеральными современниками автора (см., в частности: Бартенев 1876, 7; Корсаков 1891, 416; Брикнер

1888–1892, 1, VI; ср.: Барсуков 1873, 125; Шумигорский 1892, 86, 89, 106, 115; ср также положительные оценки книги Лебедева, в т.ч.: Анучин 1868, 6). Оставалось, чем и занялся Берков, искать подходящую цитату из востребованных советской эпохой авторов, она нашлась у Герцена, который и был назначен на роль предтечи Гуковского.

Как бы ни отнеслись к этому решению Беркова его искусственные современники (кажется, они предпочли промолчать) и представители младших поколений⁹, нам придется сейчас остановиться на вопро-

⁹ Не пытаясь здесь обсуждать весь имеющийся материал, отметим в качестве по-своему симптоматического опыт А.В. Западова, одного из учеников Гуковского, который, уклоняясь от обсуждения его сочинений (не касаемся вопроса о специфических деталях истории отношений ученика к своему учителю), считал возможным их демонстративно игнорировать, а если все же ссылался на его мнения, например, обсуждая антиломоносовские эскапады Сумарокова, то на учебник 1939 г. и так, чтобы не затронуть его версию литературного процесса (см., напр.: Западов 1979, 124) или ограничиться самыми общими вопросами (ср. ссылку на Гуковского в связи с темой ломоносовского классицизма: Западов 1979, 156); в очерке о Сумарокове Гуковский вообще не был упомянут (Западов 1984, 62–113). Впрочем, в главе о Хераскове Западов считал нужным подчеркнуть «преданность» Хераскова «литературным принципам вождя и теоретика русского классицизма – Сумарокова», но тут же отнес эту «преданность» к «теории» и, противопоставляя ей практику, заявил, что «в творчестве Херасков был далеко не столь правоверным, как в теории, допускал порой весьма существенные отклонения <...>» (Западов 1984, 193); ср. заявление о том, что Херасков был «учеником Сумарокова не только в плане литературном, но и в смысле мировоззрения» (Западов 1984, 203). Отдельно должна рассматриваться позиция Ю.М. Лотмана, относившегося к Гуковскому в целом апологетически, но при этом находившего возможность обозначить границы адекватности предлагавшихся им решений. Так, в одной из последних своих статей, имевшей мемуарный характер, Лотман, с одной стороны, подчеркнул особую роль Гуковского в «переоткрытии» Сумарокова, с другой же заявил, что именно это переоткрытие позволило увидеть его трагическое одиночество (ясно, что при подобной постановке вопроса любые попытки напомнить о «сумароковцах» выглядели бы неуместно): «Отличительной чертой подхода Гуковского было то, что в центре внимания оказывался один излюбленный им персонаж, который, как солнце планетами, был окружен историческими личностями, игравшими в концепции второстепенную роль. В первой книге таким персонажем был Сумароков, во второй – Радищев. Сейчас трудно оценить новаторский пафос такого подхода. Гуковский не только извлек имя Сумарокова из праха, но оживил и его поэзию. Он как бы стер пыль с поэта, и тот заблестал перед нами по всем блеске своего неумного таланта, яркого полемического жара и трагического одиночества личной судьбы» (Лотман 2005, 60). Отчасти в этом же ключе рассуждал М.Л. Гаспаров. Вслед за Лотманом он подчеркнул «заслугу» Гуковского в «реабилитации Сумарокова», подчеркнул актуальность концепции Гуковского в отношении того, что Сумароков, «по крайней мере, начиная с 1750-х гг., был исторически

се о предшественниках Гуковского, однако ни Герцена с Лебедевым, ни Покровского, остроумно актуализированного Бонди в 1935 г., ни Р.В. Иванова-Разумника с его влиятельной в советские годы «Историей русской общественной мысли», к которой как будто отсылают некоторые формулировки Гуковского, нам сейчас недостаточно, и по вполне серьезной причине.

Л.В. Пумпянский

Она состоит в том, что после выхода собрания статей Пумпянского (1891–1940), подготовленного к печати и изданного в 2000 г. Н.И. Николаевым, представилась возможность оценить масштаб его исследований «русского классицизма», существенно превосходивших по своему научному уровню работы Гуковского: по этой проблеме после смерти ученого ранее были изданы, кроме подготовленных к печати им самим, лишь две статьи и небольшой фрагмент незавершенной работы «К истории русского классицизма» (Пумпянский 1982; Пумпянский 1983; Пумпянский 1995, 72–75), полный текст которой находим в сборнике, составленном Николаевым (Пумпянский 2000, 30–157).

Как указал комментатор, эта работа писалась в конце 1923 – начале 1924 гг. на основе более ранних статей и лекций, читавшихся Пумпянским в Тенишевском училище (1921–1922) (ср. замечание о том, что Пумпянский «занимался творчеством Ломоносова с конца 1910-х гг.» [Пумпянский 1983, 3]), часть которых прослушал Гу-

равновеликой Ломоносову фигурой: они стояли во главе двух споривших друг с другом направлений, и победителем в споре вышло именно направление Сумарокова». А после этого заявил, что настало время «сделать следующий шаг, обратиться к более детальному обследованию материала и за контрастами двух направлений вновь увидеть сходство их поэтик», поскольку «противоположности виднее в их программных декларациях, а сходство — в их литературной практике» (Гаспаров 2003, 235). Похоже, эта игра с противопоставлением теории и практики, неожиданно сблизившая Гаспарова с Западным, мыслилась как в каком-то смысле спасительная условная фигура речи, позволявшая уйти от прямого обсуждения проблемы.

ковский и, «несомненно», учел их в книге 1927 г. (Пумпянский 2000, 651–652). Для последнего заключения у комментатора были все основания: в тексте Пумпянского фигурируют и «группа Сумарокова» / «литературная школа Сумарокова», противостоящая Ломоносову, и тезис о зависимости лирики Хераскова и поэтов его круга от сумароковской оды («это – московская параллель к сумароковской оде»), и тезис о быстрой исчерпанности ломоносовской оды («так быстро, в обеих столицах, ломоносовская строфа вошла в берега и “кончилась”») (Пумпянский 2000, 78).

Другое дело, что, усваивая все это, Гуковский скорректировал выдвинутое Пумпянским понимание литературных отношений Ломоносова и Сумарокова в направлении к тыняновской концепции: для Пумпянского Сумароков, каковы бы ни были его претензии на самостоятельность, в одах не более чем подражатель Ломоносова (ср.: «Сумароков начал подражанием тонике Тредиаковского, потом пошел за Ломоносовым; фоном его 30–40 од он навсегда остался; в Сумарокове всегда звучала вся совокупность фраз, метров, рифм и пр. Ломоносова» [Пумпянский 2000, 76]), создавший упрощенный вариант своего образца, и только: «Сумароков в истории оды сыграл роль создателя оды упрощенной, но высоколитературной – для большой публики. Можно документально доказать, что современники это понимали: вплоть до Державина, говоря об оде, разумели одного Ломоносова, а Сумарокова всегда связывали с основанием театра. Никому бы в голову не пришло сказать, что он “начал подражать сумароковской оде”» (Пумпянский 2000, 77).

Конечно, неслучайно П.Н. Медведев в книге, иногда приписывающей М.М. Бахтину, счел нужным обозначить суть разногласий с тыняновской концепцией, опираясь именно на разработки Пумпянского (подробнее об этом: Пумпянский 2000, 652).

Острота ситуации усугублялась тем обстоятельством, что Пумпянский, которого «учитывал» Гуковский, был тесно связан с принципиально несовместимым с кругом «русских формалистов» «невельским кружком» и с чуждой им «Вольфилой», в которой, впрочем, не задержался; любопытно, что в ходе обсуждения его доклада «Размышление об антисемитизме» (1922) А.А. Мейер заявил, что «с анти-

сеμίтами и разговаривать» не может, поскольку у него с ними «нет общего языка – они язычники» (Белоус 2004–2005, 2, 717).

Несмотря на этот специфический «фон», Гуковский, не принадлежавший к числу мало информированных исследователей, активно сотрудничает с Пумпянским – привлекает его («на общественных началах») к сотрудничеству с группой по изучению русской литературы XVIII в. Пушкинского дома, что позволяет Пумпянскому напечататься в сборнике «XVIII век», выпущенным в свет под ред. А.С. Орлова, с которым тогда активно взаимодействовал Гуковский (Пумпянский 1935), и «Западном сборнике», редактировавшимся В.М. Жирмунским, учителем Гуковского (Пумпянский 1937). Вскоре Пумпянский оказывается автором глав о Кантемире и Тредиаковском в его учебнике (Гуковский 1939, 46–81) и, конечно с его же подачи, в академической «Истории русской литературы» (Пумпянский 1941; Пумпянский 1941а); для нее же Пумпянский написал главу о сентиментализме (Пумпянский 1947).

Херасков и Сумароков

Напомнив о Пумпянском и обсудив критические отзывы Беркова, в которых, пусть и в «свернутом» виде уже содержатся зачатки иной концепции, совместимой с концепцией Гуковского лишь отчасти, и именно в той мере, в какой Сумароков действительно влиял на своих литературных современников и в какой он действительно представлял интерес для «панинской группы», попробуем, учитывая все, сказанное выше, обсудить возможности построения другой историко-литературной концепции, в центре которой естественным образом окажется не Сумароков, а Херасков.

Итак, если Херасков действительно, как предполагал Берков, «быстро вышел из орбиты влияния Сумарокова», крайне важно определить, когда именно это произошло. Далее, если московский херасковский кружок – это именно «херасковцы», а не «сумароковцы», нужно понять, когда именно Сумароков отдал себе в этом отчет и как именно

он отреагировал на этот факт. В том, что он как-то на него отреагировал, не может быть никакого сомнения: человек с его темпераментом и при этом привыкший действовать открыто, не чуждавшийся самых резких полемик и при этом считавший себя обязанным отстаивать истину перед лицом невежд, не отреагировать на такого рода событие не мог. Наконец, нужно уяснить, каково в действительности было отношение «херасковцев» к Ломоносову, и если оно не сводилось к безоговорочному осуждению – а оно к нему отнюдь не сводилось, – то какова была причина расхождения с Сумароковым по вопросу о Ломоносове. Ведь в данном вопросе менее чем в каком-либо другом речь может идти о каких-то случайностях: это центральный вопрос литературной эволюции, что Херасков и его окружение прекрасно понимали.

Ответ на первый из этих вопросов, кажется, найден: выше мы уже напомнили о том, что свою независимость от «системы Сумарокова» Херасков в полной мере обнаружил не позднее 1758 г., когда вышла в свет его трагедия «Венецианская Монахиня» (Херасков 1758). Собственно говоря, все те немногие, кто писал об этом произведении, отмечали его несовместимость с жанровой моделью трагедии, выдвинутой Сумароковым.

Второй вопрос – о реакции Сумарокова на это событие – специально не обсуждался, а потому нам придется остановиться на нем подробнее.

Последний номер «Трудолюбивой Пчелы» заканчивался, как известно, стихотворением, в котором Сумароков заявил о завершении своего поэтического поприща. Напомним этот текст:

Раставание с музами

Для множества причин
Противно имя мне Писателя и чин;
С Парнасса нисхожу, схожу противу воли,
Во время пущаго я жара моево,
И не взойду, по смерть, я больше на нево:
Судьба моей то доли.

Прощайте музы на всегда!
Я более писать не буду никогда.

А.<лександр> С.<умароков>

Далее следовали последние слова издателя, набранные прописными и исполненные драматизма: «ТРУДОЛЮБИВОЙ ПЧЕЛЫ КОНЕЦ» (ТП, 758). В этих стихах причины прекращения издания не были указаны, понятно лишь, что их много, и что решение прекратить журнал было вынужденным. Поэтому возник исследовательский миф о том, что журнал был запрещен властями, при том что никакими данными на сей счет мы не располагаем (см., напр.: Берков 1952, 121–122), если не считать гораздо более правдоподобных предположений о нехватке подписчиков и недостатке собственных средств у издателя, а также о его ссорах с Академией наук, при которой выпускался журнал.

Поэтическому прощанию с музами в последней книжке «Трудолюбивой Пчелы» предшествовало прозаическое – статья Сумарокова «К бессмысленным рифмотворцам», которая заслуживает отдельного рассмотрения; здесь мы процитируем только тот ее фрагмент, который имеет отношение к нашей теме. Вот он:

Я не знаю кратчайшего способа стати Стихотворцем, как выучившись грамоте, научиться узнати, что есть стопа, а ето наука самая легкая, и только трех часов времени требует, начать писать и отдавати в печать. Сей новый и краткий способ уже несколько восприят; но я желая успеха Словесным наукам, оный всем охотникам марасть бумагу и мучить Типографщиков и Справщика, больше препоручаю, и ободряю молодых людей: Врите друзья мои изо всей силы, а я вам порука, что вы не только самых крайних невежд, но и таковых людей, которых учеными почитают, или паче Стихотворцами, найдете в числе ваших похвалителей! не пишите только Трагедий; ибо в них невежество Автора паче всего открывается <...>

(ТП, 763).

Кто эти «друзья» автора, «молодые люди», будущие или уже практикующие графоманы, которых он иронически напутствует и ободряет, обыгрывая заглавие трактата Тредиаковского и разъясняя им, что

несомненность их успеха, который не замедлит, предопределена низким уровнем гуманитарного развития общества, неспособного различать «несмысленных рифмотворцев» и настоящих поэтов. Ободряет и напутствует он их, однако, оговаривая, чтобы они не писали трагедий, поскольку этот жанр менее всего благоприятствует успехам имитаторов и невежд.

Перед нами выпад Сумарокова в сторону Хераскова – автора «Венецианской Монахини», а все вместе – своеобразное прощание Сумарокова с «сумароковцами». Никакой другой возможности связать сумароковский текст с реальностью литературной жизни мы не видим. Конечно, создавая его, Сумароков уже знает, что со следующего года в Москве будет выходить «Полезное увеселение», что журнал возглавит именно автор «невежественной» «Венецианской Монахини», что вокруг журнала уже сгруппированы практически все московские литературные силы, что готовность «херасковцев» считаться «сумароковцами» никак не обозначена и, следовательно, отсутствует.

По всей вероятности, это еще одна причина, и явно не из числа последних, – из той «тысячи причин», о которой он упоминает в своих стихах, завершающих последний номер «Трудолюбивой Пчелы», и которая мыслилась им как вполне достаточная для того, чтобы уйти из литературы (хотя бы декларативно): все его усилия привели к консолидации литературной группы, ему не враждебной, но лишь отчасти разделяющей его взгляды и, в сущности, в нем не нуждающейся.

Все это, в принципе, не означало окончательного разрыва ни с Херасковым, ни с кем бы то ни было еще из числа тех, кто вошел в его группу, но все это означало, что Сумароков признавал свою неудачу как несостоявшегося организатора московского литературного пространства и вместе с тем не был способен скрыть свою досаду, будучи совершенно уверен, что «друзья» сделали неверный выбор. И, конечно, именно потому, что выбор этот был ими сделан, он мог дать волю этой своей досаде: терять, в сущности, было уже нечего.

Один из немногих последующих опытов сотрудничества Сумарокова с Херасковым – публикация оды 1763 г. в журнале последнего «Свободные часы» (Сумароков 1763). В этом первом издании пьесы она была озаглавлена «Ода к М.М. Хераскову». Это «духовное

стихотворение», содержание его вполне универсально; вместе с тем в контексте отношений Сумарокова с Херасковым оно звучит двусмысленно – и наставительно, и, так сказать, примирительно. Обращаясь к Хераскову, Сумароков и наставляет его, напоминая ему о суете мира, и, вместе с тем, очерчивает пространство взаимопонимания: ясно, что Херасков разделял идеи, высказанные в стихотворении:

Среди игры, среди забавы,
Среди благополучных дней,
Среди богатства, чести, славы
И в полной радости своей,
Что всё сие, как дым, преходит,
Природа к смерти нас приводит,
Вспоминай, о человек!
Умрешь, хоть смерти ненавидишь,
И всё, что ты теперь ни видишь,
Исчезнет от тебя навек.

Это начало пьесы. Вот заключительная строфа, призывающая признать необходимость обоюдного усмирения страстей (впрочем, специфическую «страстность», не раз проявлявшуюся в отношениях Сумарокова с современниками, предание закрепляет именно за ним; репутация Хераскова ничего подобного в себе не содержит) перед лицом общей неизбежности:

Умерим мы страстей пыланье;
О чем излишне нам тужить?
Оставим лишнее желанье;
Не вечно нам на свете жить.
От смерти убежать не можно,
Умрети смертным неотложно
И свет покинуть на всегда.
На свете жизни нет миляе.
И нет на свете смерти зляе, —
Но смерть последняя беда

Перепечатавая эту оду в сборнике 1774 г., Сумароков меняет заглавие, снимая упоминание о Хераскове; теперь пьеса называется «Ода на суету мира»; одновременно он меняет текст финальной строфы,

переставляя строки; теперь то, что при первой публикации могло читаться как скрытое примирительное обращение к Хераскову, отодвигается в глубь строфы и растворяется в «общечеловеческом» звучании целого:

Оставим лишнее желанье;
О чем излишне нам тужить?
Умерим мы страстей пыланье;
Не вечно нам на свете жить.
От смерти убежать не можно,
Умрети смертным неотложно
И свет покинуть на всегда.
На свете жизни нет миляе.
И нет на свете смерти зляе, —
Но смерть последняя беда

(Сумароков 1774, 209–211).

Это «угасание» херасковской темы во второй редакции сумароковской оды – лишь один из симптомов его отдаления от Хераскова, зафиксированного с предельной выразительностью уже в последнем номере «Трудолюбивой Пчелы» 1759 г.

Напомним, что в 1764 г. свое видение русской литературной ситуации Сумароков столь же безапелляционно и, кажется, совершенно искренне, зафиксировал в письме к Екатерине II, перекликающемся со статьей «К несмысленным рифмоторцам» по крайней мере в нижеследующем фрагменте: «<...> автор в России не только по театру, но и по всей поэзии я один, ибо я из рифмоторцев, которые своими сочинениями дают Парнас российский, пиитами не почитаю; они пишут не ко славе нашего века и своего отечества, но себе к бесчестию и к показанию своего невежества» (Письма 1980, 97).

Итак, очевидно, увещание, напечатанное в «Трудолюбивой Пчеле», ни к чему не привело, и «рифмоторцы» не оставили своего бессмысленного занятия.

Вместе с тем ничего не переменилось и в судьбе Сумарокова: как в 1759 г., так и в 1764-м его одиночество в литературном мире ему самому представлялось несомненным фактом, а поэты, с которыми

сводили его обстоятельства жизни, не представлялись ему достойными избранного ими поприща.

Никаких исключений он не делает – ни для «сумароковцев», ни для «херасковцев». В этом смысловом поле в значительной мере разъясняются и изоляция, в которой оказался Сумароков после переезда в Москву, и некоторые специфические особенности его литературной репутации. Что же касается того практического решения, которое он принял для себя в 1760 г., оно общеизвестно: имея, как будто, все возможности продолжить сотрудничество со своими «учениками и последователями» в «Полезном увеселении», он предпочел печататься, главным образом, в «Праздном времени, в пользу употребленном», издававшемся при Сухопутном шляхетном корпусе, который некогда закончил и с которым было связано становление его литературной репутации.

Херасков и его окружение

Теперь наметим ту линию литературных, идеологических, биографических связей, в пределах которой Сумароков, особенно с учетом концепции Гуковского, должен был найти свое место и, судя по всему, не нашел его.

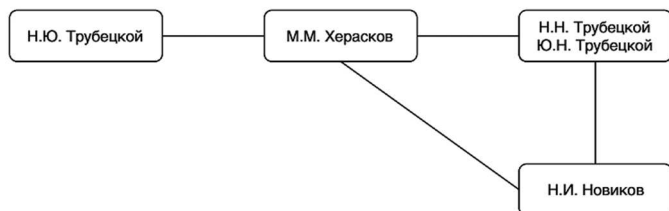
Это, конечно, Херасков и «херасковцы». Но они, и прежде всего именно Херасков, должны были опираться на какую-то систему общественных и элитных связей. Конечно, эти связи не обязательно должны быть однородны или равноценны. Но они должны быть в полной мере различимы и при этом достаточно очевидны в том пространстве литературной жизни, в которое оказались вписаны Херасков и его группа.

Во-первых, это семейные связи: Херасков был приемный сын кн. Н.Ю. Трубецкого, женившегося вторым браком на А.Д. Херасковой, урожденной Друцкой-Соколинской (1712–1780).

Во-вторых, это масонские связи, в т.ч., так сказать, семейно-масонские: единоутробные братья Хераскова, князя Н.Н. Трубецкой

(1744–1820) и Ю.Н. Трубецкой (1736–1811) были в числе влиятельнейших московских масонов, теснейшим образом связанных с деятельностью Н.И. Новикова.

Зафиксируем сказанное в простейшей схеме:



Напомним и о более далеких родственных связях Трубецких и Хераскова: это Нарышкины (дочь Н.Ю. Трубецкого Анна Никитична [1737–1760] вышла за камергера А.И. Нарышкина [1735–1782]), Вяземские (другая дочь князя, Елена Никитична [1745–1832], замужем за генерал-прокурором кн. А.А. Вяземским [1727–1793], приобретшим дополнительную известность гонениями на Г.Р. Державина), Гагарины (за кн. Ф.С. Гагарина [1757–1794] вышла внучка Н.Ю. и дочь Ю.Н. Трубецкого [1736–1811] Прасковья Юрьевна [1762–1848], во втором браке Кологривова, на дочери которой Вере Федоровне [1790–1886] женился кн. П.А. Вяземский [1792–1878] [подробнее см.: Сказания 1891]); матерью ее была Д.А Трубецкая (1730–1809), в первом браке гр. Вальдштейн, урожденная гр. Румянцева, сестра фельдмаршала гр. П.А. Румянцева-Задунайского.

Пойдем дальше. Следующая исключительно важная и совершенно элитная фигура – И.И. Бецкой (1704–1795), побочный сын генерал-фельдмаршала кн. И.Ю. Трубецкого и племянник Н.Ю. Трубецкого, сводного брата кн. А.И. Трубецкой (1700–1755), которая в первом браке была за кн. Д.К. Кантемиром (1673–1723), отцом А.Д. Кантемира, во втором – за наследным принцем Людвигом Гессен-Гомбургским (1705–1745); ее дочь, Екатерина Дмитриевна Кантемир (1720–1761), статс-дама и камер-фрейлина императрицы Елизаветы Петровны, вышла за кн. Д.М. Голицына (1721–1793), более тридцати лет бывшего послом в Вене и пользовавшегося доверием Екатерины II, сына

М.М. Голицына (1675–1730) и кн. Т.Б. Куракиной (1697–1757), дочери кн. Б.И. Куракина (1676–1727).

С именем Бецкого связаны наиболее существенные педагогические проекты екатерининской эпохи (некоторые из них затрагивали Московский университет, с которым так тесно был связан Херасков). Наиболее известный эпизод их сотрудничества, имеющий, по общему мнению комментаторов, непосредственное отношение к истории русской литературы, связан с подготовкой коронационного маскарада «Торжествующая Минерва» (1763). Руководил этой подготовкой Н.Ю. Трубецкой (Екатерина II 1907, 554), и именно он, как обычно предполагается, привлек к работе и Хераскова, и, в какой-то мере, Бецкого (из дома которого за маскарадным шествием наблюдала Екатерина II [об этом: Майков 1904, 70]).

Привлечен был и Сумароков, написавший «хоры», но именно Херасков выдвинулся на первый план. Херасковым было написано объявление о маскараде, отпечатанное отдельно Московским университетом; что гораздо важнее, Херасков составил небольшую книжку, посвященную маскараду, изданную университетом же (Торжествующая Минерва 1763); сюда вошли его «Стихи к большому маскараду», «Описание большого маскарада», написанное, скорее всего, им же (в конце этого текста дано примечание: «Изображение и распоряжение маскарада Ф. Волкова»; скорее всего, это касается не авторства «описания», а авторства проекта мероприятия). Завершалась книжка публикацией «хоров», написанных, видимо, Сумароковым, сопровождаемой многозначительным примечанием, смысл которого до сих пор не ясен: «Только одни хоральные песни в сем маскараде сочинения ***». Обстоятельства приглашения Сумарокова не прояснены, как и вопрос об «антиломоносовском» характере некоторых текстов, написанных для маскарада (см. обстоятельное развитие этой версии, вряд ли достаточно обоснованной и во всяком случае требующей отдельного обсуждения: Погосян 2008). Но точно известно, что Сумароков остался недоволен тем, как была представлена его роль, ср. в его письме к Екатерине II от 3 мая 1764 г. (Письма 1980, 96, 196 [комментарий В.П. Степанова]). В этом контексте примечание Хераскова приобретает особый смысл: это своего рода ответ на

притязания Сумарокова, который, судя по всему, считал свой вклад в подготовку маскарада наиболее значительным, если не решающим. Если же принять во внимание, что столь же ограниченное участие в подготовке маскарада, как и Сумароков, принял Бецкой (ср.: Майков 1904, 68–69), роль Хераскова оказывается ключевой: он явно занимает здесь второе место после Трубецкого (или, в определенном смысле, даже первое, если учесть, что Трубецкой не претендовал на публичность), о чем и свидетельствует собранная по его инициативе книжка, закреплявшая роль Хераскова, а вместе с тем и Московского университета.

Теперь еще более кратко напомним биографические факты, дающие представление о происхождении некоторых «херасковцах» – участников «Полезного увеселения».

А.В. Нарышкин (1742–1800) и С.В. Нарышкин (1731–до 1800) – выходцы из дворянского рода, к которому принадлежала царица Наталья Кирилловна, вторая жена царя Алексея Михайловича, мать Петра I.

В.И. Майков (1728–1778) принадлежал к дворянскому роду, восходящему ко второй половине XV в.; товарищ московского генерал-губернатора, прокурор Военной коллегии, главный член конторы Мастерской и Оружейной палаты.

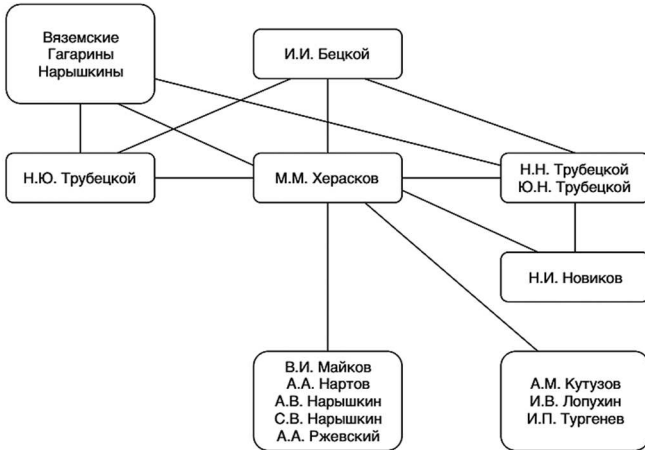
А.А. Ржевский (1737–1804) – действительный тайный советник, сенатор, вице-директор Петербургской академии наук; с ним был как-то связан Бецкой: за Ржевского в 1777 г. вышла любимая воспитанница Бецкого Г.И. Алымова (1758–1826), оставившая содержательные воспоминания (Ржевская 1871).

А.А. Нартов (1737–1813) – действительный тайный советник, президент Берг-коллегии, секретарь и президент Вольного экономического общества (предложен на эту должность кн. А.Б. Куракиным); в 1762–1765 гг. обучал цесаревича Павла Петровича иностранным языкам.

Напомним и о том, что общественные и дружеские связи Хераскова затрагивают весь круг московских масонов. Кроме Н.Н. и Ю.Н. Трубецких и Новикова, в него входили, в частности, И.В. Ло-

пухин (1756–1816), выходец из старинного дворянского рода (Евдокия Федоровна Лопухина [1670–1731] была первой женой Петра I), «сочувственник Радищева» А.М. Кутузов (1748–1791), И.П. Тургенев (1752–1807).

Дополним нашу схему этими данными:

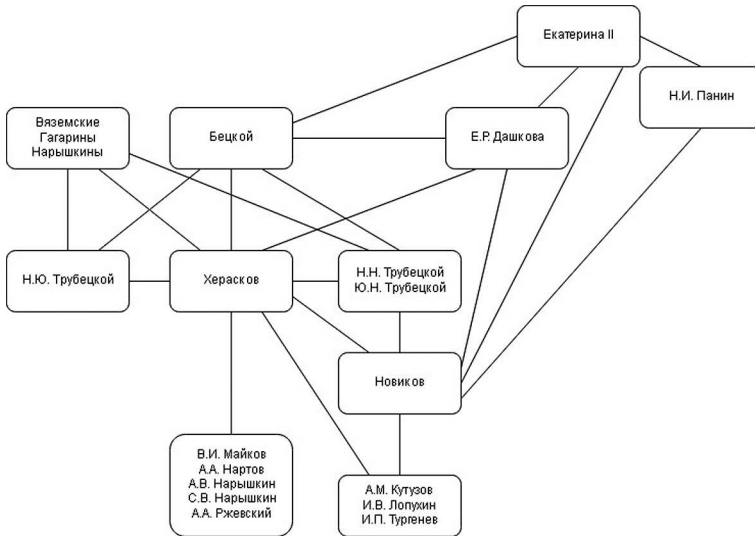


Теперь «достроим» схему, имея в виду элитные связи Бецкого. К нему благоволит императрица Екатерина II: она познакомилась с ним сразу после своего приезда в Россию в 1744 г. в качестве невесты цесаревича Павла Петровича (Бецкой был камергером его двора); принимал ли он участие в заговоре, точно неизвестно, но очень велика вероятность того, что он о нем знал, и вероятнее всего от кн. Е.Р. Дашковой, которая фактически оказывается связующим звеном между императрицей и культурным сообществом, а отчасти и политическим (по крайней мере, в период подготовки переворота и сразу после). Впрочем, позднее Дашкова, озабоченная закреплением в сознании потомков представления о чрезвычайной значимости своих заслуг перед русской историей, в своих записках изобразит Бецкого заискивающим перед Екатериной после переворота и придумывающим свои мнимые перед нею заслуги (Дашкова 1876, 91–92; другое объяснение данного текста Дашковой: Воронцов-Дашков 2010, 78);

даже если Бецкой действительно вел себя подобным образом, в чем комментаторы обычно сомневаются, никаких огорчительных последствий для него данный эпизод не имел. Об отношении императрицы к Бецкому много говорит его письмо к ней от 31 декабря 1762 г., написанное в свободной, живой, откровенной манере, что свидетельствует о высоком уровне взаимопонимания и даже о взаимном доверии (Майков 1896, 383–385). Еще более красноречивым представляется назначение Бецкого сначала управляющим (1763), а затем президентом Академии художеств (1764) вместо ее основателя и первого президента И.И. Шувалова; в 1767 г. Бецкой получил чин действительного тайного советника. Что же касается отношений с Дашковой, то при всей их сложности (впечатление которой формируется не в последнюю очередь вследствие нехватки твердо установленных фактов), они, судя по всему, были единомышленниками в воззрениях на педагогику, ее задачи и возможности; впрочем, приверженность Бецкого идеям Локка и Руссо, разделялась не только Дашковой, но и Н.И. Паниным и, насколько можно судить, Херасковым и «херасковцами», по крайней мере Н.Н. Поповским – переводчиком Локка (см., напр.: Кизеветтер 1904, 139; Модзалевский 1958, 164, 168–169); напомним здесь, что впервые в России педагогические идеи Локка были выдвинуты как актуальные в седьмой сатире Кантемира, посвященной все тому же Н.Ю. Трубецкому.

Дашкова была связана не только с Бецким, но и, что особенно важно для нас в связи с обсуждением концепции Гуковского, с гр. Н.И. Паниным (1718–1783) и его братом П.И. Паниным (1721–1789), причем это были не только придворные и политические связи, но и родственные: братья Панины были дальними родственниками ее мужа, кн. М.И. Дашкова (1736–1764): его мать, А.М. Леонтьева (1712–1775), дочь двоюродного племянника царицы Натальи Кирилловны, приходилась братьям Паниным двоюродной сестрой; сознавая отдаленность этого родства, Дашкова тем не менее специально оговаривает его значимость (Дашкова 1876, 52); при этом она приписывает себе ключевую роль в вовлечении в заговор, стоивший жизни Петру III, Н.И. Панина (Дашкова 1876, 59–60).

Итак, система отношений в интересующем нас элитном кругу приобретает следующий вид:



Ясно, что эта схема имеет характер самый приблизительный и грубый и, следовательно, должна уточняться во многих деталях, соотноситься с хронологией исторических событий, тем более что мы ограничились сведениями, лежащими на поверхности и доступными любому любителю биографических и генеалогических справочников. И все же ее достаточно для того, чтобы сделать первый существенный вывод, касающийся Сумарокова и его места в этой среде. Особых проблем с вхождением в нее у него не должно было быть: в конце концов, он дворянин, пусть и небольшой, а вместе с тем он выдающийся поэт и уже по этой причине должен был привлечь к себе внимание.

Однако в этой среде он не мог восприниматься как равный: у него нет собственных прочных элитных связей, он не является сколько-нибудь заметной фигурой в политической борьбе, а следовательно он полностью зависим от «херасковцев», аристократии, власти. Разумеется, они могут взаимодействовать с ним или использовать его в собственных целях, как могут и вполне бескорыстно ценить его

дарование: ясно, что для этого они достаточно умны, образованы, культурно изоцирены. Но при этом они не будут рассматривать его как человека своего круга. И это тем более так, что социальное поведение Сумарокова, обусловленное его выдающимся темпераментом, его ранимостью, раздражительностью, неумением или нежеланием сдерживать эмоции, тяготело именно к тому «шутовству», о котором, как мы видели, много лет спустя написал Пушкин.

Херасков и Ломоносов

На роль «своего» в этом кругу «херасковцев» не мог бы, естественно, претендовать и Ломоносов, уже в силу своего «подлого» происхождения. Однако это не означает, что его литературная репутация автоматически оказывалась ниже сумароковской. Попробуем, отвлекаясь от версии Гуковского, согласно которой «сумароковцы» / «херасковцы» вели решительную борьбу с Ломоносовым как с поэтом, склонным к риторическим излишествам и безвкусной пышности слога, ради которых он жертвовал принципом ясности выражения, взглянуть на проблему непредвзято, имея в виду, в частности, то, что было сказано в процитированной выше рецензии Беркова на учебник Гуковского: Берков, судя по всему, прекрасно понимал ситуацию.

В этом случае сразу выясняется, что там, где должно было ожидать полемики или замалчивания, а также скоординированных попыток дискредитации, имело место нечто совершенно другое.

В «Письме» (1760), опирающемся на сумароковские эпистолы о русском языке и о стихотворстве, Херасков упоминает и Сумарокова, и Ломоносова (именно в такой последовательности), фактически уравнивая их друг с другом («Ты пением своим невеж увеселишь / И грубость их сердец, как Амфион, смягчишь, / Когда так станешь петь для утешенья россов, / Как Сумароков пел и так, как Ломоносов, / Великие творцы, отечеству хвала, / И праведную честь им слава воздала»), что могло означать только нежелание включаться в их борьбу (Херасков 1760; Херасков 1961, 102–103; ср.: Кочеткова 1994, 105–106).

В дидактической поэме «Плоды наук» (Херасков 1761) Херасков демонстративно ориентируется на ломоносовское «Письмо о пользе стекла» (1752). В статье «Рассуждение о Российском стихотворстве» (1772) Херасков делает комплименты Сумарокову-трагику и лирику, труды которого «снискали ему похвалы и признательность его единомыслителей», но прежде всего он говорит о роли Ломоносова, который предстает основоположником современной русской поэзии, и заявляет о его «бессмертии»:

Наконец, явился Ломоносов; сей великий муж, столь превосходными дарованиями наделенный, после того как в чужих краях приобрел знания наук важных, чувствуя природную свою склонность к стихотворству, сочинил <...> оду на взятие Хотина в 1739 г. Сие творение, того же года в Россию посланное, оказало великое сего сочинителя дарование и обучило россиян правилам истинного стихотворения. Оно написано ямбическими стихами в четыре стопы; сменение стихов и мера лирических строф тут точно соблюдены, и к чести сего славного поэта признать должно, что сие первое творение есть из числа лучших его од. Перевод, который г. Ломоносов из стихов Г. Ф. В. Юнкера на коронавание императрицы Елисаветы в 1742 г. учинил, научил нас сочинению подлинных ямбических стихов александрийских. Засим разные его труды, величайшей похвалы достойные, и первее всего оды его, исполненные огня божественного и высоких мыслей, его надписи, его героическая поэма «Петр Великий», которую смерть помешала ему завершить, к сожалению его единомыслителей, обогатили язык наш, представили нам высокие образцы и имя Ломоносова соделали бессмертным

(Херасков 1933, 292–293).

В «Историческом предисловии» к «Россияде» Херасков апеллирует к авторитету Ломоносова-историка (Херасков 1779, <9>; ср.: Херасков 1786, V). В седьмой книге романа «Полидор, сын Кадма и Гармонии» Херасков вновь подчеркивает значение и Ломоносова, и Сумарокова, но теперь именно Ломоносов оказывается на первом месте, причем хвалит его Херасков именно за то, что вызывало саркастические замечания Сумарокова – за слог его од: «Может ли чувствительная душа, может ли в восторг не прийти, внимая громкому и важному

пению наперсника Муз, парящего Л*<омоносова> ? может ли кто не плениться нежными и приятными творениями С*<умарокова> ?» (Херасков 1794, 2, 186–187). Когда Хераскову захотелось похвалить «Слово о полку Игореве», он поставил в один ряд Гомера и Ломоносова (Херасков 1803, 127; отмечено: Творогов 1995, 179). Ср. еще более впечатляющий ряд имен в поэме «Пилигримы, или искатели щастия» (1795); здесь Ломоносов вновь поименован прежде Сумарокова, причем значение последнего ограничено притчами, а образцовым наследником Ломоносова в оде признан Державин:

Мой Панзоф <...> мудрого Сократа презирал,
Гомера бахарем в Ильяде называл;
Он Лок<к>а не любил, пренебрегал Невтоном;
Ругался Тассом он, и Юнгом, и Мильтоном;
Казались Кант ему и Виланд без ума;
У Ломоносова казалась в одах тма;
Ему казался плох на притчах Сумароков;
И в оде, Бог, сыскал он множество пороков

(Херасков, 3, 284)¹⁰.

Любопытные детали, касающиеся отношения Хераскова к Ломоносову, содержатся в записках С.Н. Глинки, о котором речь впереди:

Над письменным столом Хераскова висел портрет Ломоносова.
– Вот мой наставник, – сказал Херасков.

¹⁰ О ломоносовском подтексте в одах Хераскова см. ряд существенных наблюдений в содержательной монографии современного исследователя (Алексеева 2005, 261–275). Вместе с тем утверждение о том, что херасковские оды «принципиально противостоят» «своей поэтикой и своим нравственным содержанием заглушающим их одам Сумарокова и Петрова» (Алексеева 2005, 275) представляется, как минимум, недостаточно обоснованным, а замечание о том, что Херасков «очистил <...> изображение» Ломоносова «от аллегорической условности и резкости» – вряд ли верным: вряд ли нужно всерьез доказывать, что аллегоризм – основная особенность стиля Хераскова (как и поэтов его времени). Об отношении Хераскова к Ломоносову см. также: Кочеткова 1994, 105–106, 108–110 (здесь с Ломоносовым связывается не лирика Хераскова, а его эпические поэмы; в этой связи см. еще: Соколов 1955, 145, 148–153).

И посадя меня подле себя, с таким жаром читал строфы из од Ломоносова, с каким в 1790 году граф Михаил Семенович Воронцов читал их в Лондоне Карамзину

(Глинка 1895, 202).

Несмотря на некоторые неточности («лучшие места из од Ломоносова» читал гр. С.Р. Воронцов, и при этом Карамзин ничего не сообщает о «жаре», который, согласно Глинке должен был охватить в это время Воронцова [см.: Карамзин 1797–1801, 6, 117]), свидетельство Глинки представляется в целом достоверным, поскольку не противоречит имеющимся данным, и в этом смысле представляется вполне существенным: оно прямо указывает и на то, что Херасков считает своим учителем не Сумарокова, а Ломоносова, и на то, что в доме Хераскова был своего рода культ Ломоносова.

В этой связи отметим, что именно с Ломоносовым Хераскова соотносили современники и потомки – вплоть до начала XX в. Ограничимся несколькими примерами.

И.П. Елагин, считающийся (не без некоторых серьезных оснований, но вместе с тем часто и без учета эволюции его позиции) противником Ломоносова и отнесенный Гуковским к «сумароковцам», усмотрел в Хераскове единственного серьезного соперника Ломоносова:

Господин статский советник Ломоносов был беспрекословно тот муж, который обладал всеми способностями прямого Повествователя. В нем находилась обширного Тита Ливия соображения природа, великое тонкого Тацита политики проицание, и к р а т к о г о Салюстиева красноречия острота; словом, в нем видно и глубокое наук знание, и мыслей изобилие, и витийства богатство. Его несравненным пером оставленная нам первая часть Русского повествования свидетельствует, коль отменным и в предложении приключений обладал он искусством; и хотя в исследовании времен и народов прехождения малую показал он прилежность, и инде погрешил небрежением, но то без сомнения мог бы, осмотревшись во втором издании исправить. <...> Великие люди редко рождаются. Демосфен был отменного учения муж и превеликий вития, но не Повествователь; сие дарование уступает он изящному Фукидиту; а Ломоносов наш был вкупе и Демосфен и Фукидит. Вступая отважно на путь, с толикою удачею им

проложенный, кому возможно без робости подобным ласкаться успехом? Разве найдется между нами с таким же к повествованию дарованием, с какою к стихотворству способностью произвела Природа господина Хераскова? Сей равно любимец Аполлона и Муз наперсник вступил по нем в претрудное Эпических Поэм творение; воспел Российских Героев дела, и благоуспешным пением учинился Гомеру и Виргилию подражателем, Вольтеру, Тассу и самому Ломоносову соперником в сочинениях, в славе и в почтении.

Соперничество сих двух наших Стихотворцев затруднит потомство в отдании справедливого преимущества, когда разберет оно, что Ломоносов как повествование, так и Поэму его о Петре начал, но не окончил, а Херасков две целые Героические Поэмы трудным шествием привел к развязке и окончанию; ибо кто не ведает, что начало всяческого великого сочинения не столь трудно, как приведение к концу совершенному?

(Елагин, 1, XXVII–XXX; данный фрагмент цитировался, с кратким комментарием, П.Н. Берковым [Берков 1936, 283–284]).

Сумарокову в этой картине места не находится: есть только Ломоносов и Херасков, все остальное либо несущественно, либо менее значимо.

Елагин отнюдь не был одинок в подобной постановке вопроса. Ср. в «Отрывке из послания к сочинителям соблазнительных и вредных книг» Н.Д. Иванчина-Писарева: «Так пели вы, Расин, бессмертный Ломоносов, / Херасков звучный наш: вы оба слава Россов!» (цит. по изд: СОРС, 4, 295). Ср. еще знаменитый иронический пассаж Белинского, исходящего, однако, из той же модели:

Да – у нас нет литературы!

«Вот прекрасно! вот новость! – слышу я тысячу голосов в ответ на мою дерзкую выходку. – А наши журналы, <...>, а наши альманахи, <...>, а наши библиотеки <...>, а наши Гомеры, Шекспиры, Гете <...>? Разве мы не имеем Ломоносова, Хераскова, Державина, Богдановича, Петрова, Дмитриева, Карамзина, Крылова, Батюшкова, Жуковского, Пушкина, Баратынского и пр. и пр. А! что вы на это скажете?»

(Белинский 1834, 190).

Несколько иную постановку вопроса обнаруживаем в популярном некогда словаре: «В то время Ломоносов уже создал и устроил наш

книжный язык, вслед за ним шли и робкий подражатель Херасков, и умный последователь Поповский, и смелый, игривый <...> Богданович; а неутомимый Сумароков давно уже шумел трагедиями, притчами, сатирами, одами, эклогами, и, не дожидаясь посторонних похвал, громко хвалил сам себя» (Плаксин 1837, 109). Сумароков здесь – комическая фигура, центральное место в литературном пространстве отведено Ломоносову, ему подражают Херасков («робко»), Поповский («умно»), Богданович («смело»); здесь же выясняется, что к данному кругу тяготел и Фонвизин. Впрочем, в более раннем своем сочинении Плаксин констатирует, что в одном отношении, именно по части сочинения поэм, Херасков «далеко превзошел Ломоносова» (Плаксин 1833, 245), что не отменяет более общего их сопоставления, сделанного в словарной статье.

Но Херасков мог восприниматься не просто как подражатель Ломоносова, но и как ученик его, ср., напр.: «Мы видели, что еще Тредьяковский<...> и Ломоносов<...> старались восполнить этот <...> недостаток <отсутствие национальной эпопеи>. Но свершить это предоставлено было <...> Хераскову <...>, ученику Ломоносова» (Стрекалов 1837, 84).

Этих выписок, число которых без труда может быть увеличено, на наш взгляд, достаточно для того, чтобы констатировать не только ломоносовскую ориентацию Хераскова, но и тот факт, что она была известна современникам, а потомки уже прямо соотносили его с Ломоносовым.

«Херасковцы» и Ломоносов

Но, может быть, «херасковцы» были настроены иначе, и, в отличие от Хераскова и вслед за Сумароковым, видели в Ломоносове поэта чуждого или враждебного? Конечно, нет: будь это так, они вряд ли смогли бы и вряд ли захотели объединяться вокруг проломоносовски настроенного Хераскова. Поэтому обратимся теперь к тем младшим

поэтам, которые считали нужным говорить о своей зависимости от Хераскова и, вместе с тем, от Ломоносова.

В.И. Майков, в жизни которого Сумароков сыграл роль «поощрителя и наставника» (Майков 1889, 262), помимо апологетической «надписи» «К изображению Михаила Васильевича Ломоносова» (1777), в которой последний отождествляется с Цицероном, Вергилием и Пиндаром и о которой речь впереди, оставил оду 1768 г., содержащую прямое обращение к «несравненному» Ломоносову с просьбой «настроить» «слабую лиру» и заявление о своем у него ученичестве:

Но днем сим дух мой восхищенный
Дерзает песни петь священны,
Стремится, жаждет и горит;
Желанье жар во мне рождает,
Усердье ум мой возбуждает
И мысли к пению бодрит.

Но кто мне может их направить,
Кто даст богатство мне речей?
Богиню русскую прославить
Возможно ль песнию моей?
О ты, певец преславный россов!
О, несравненный Ломоносов!
Твой слог отменной красоты,
Твоя огромна песнь и стройна
Была монархини достойна,
Достоин петь ее был ты.

Я хладный прах твой уважаю,
Он в граде оном положен,
Тебе в котором подражаю,
Твоим быв пламенем возжжен;
Приди, настрой мне славу лиру,
Дабы я мог пространну миру
Твоим восторгом возгреметь;
Да блещут страшные перуны,
Когда ее согласны струны
Начнут Екатерину петь

(Майков 1966, 202–203).

Богданович писал о своем ученичестве у Хераскова:

Твоим пленяясь стихотворством,
И петь тобою ободрен,
К совету твоему упорством
Мой разум не был отягчен.

Привержен к Музе справедливой,
Я чувствовал во времена,
Что стыдно быть бесплодной нивой,
Где пали добры семена

(Богданович, 2, 142).

И он же, в статье «О древнем и новом стихотворении», заполнив ее обширными цитатами из Ломоносова, заявлял: «Красота сочинений Господина Ломоносова завлекает меня в долгие выписки <...>. Желал бы я иметь дар Господина Ломоносова к изъявлению всенародной Ей <Императрице Екатерине II> благодарности <...>» (Богданович, 4, 215).

Фонвизин рассказывает в воспоминаниях о встрече с «бессмертным Ломоносовым» как о значимом событии своей жизни (Фонвизин, 1, 92); о том же говорит и его очень хорошо осведомленный биограф, не просто усмотревший в данном эпизоде значимое событие, но и наметивший с его помощью отношения литературной преемственности: «В числе разительнейших впечатлений, пробудивших внимание 14-летнего отрока в приезд его в Петербург, была встреча у Шувалова и знакомство с человеком, который мог бы один служить выражением русской образованности, столь же внезапной, как и он, с человеком, неприготовленным событиями и ознаменовавшимся в ученом мире явлением столь же самовластным, как и Петр Великий в мире государственном, – с Ломоносовым! <...> Может быть, встрече с Ломоносовым и смеху, порожденному игрою актера Шумского, обязаны мы наиболее, что в Фон-Визине имеем писателя, а от него хорошие комедии» (Вяземский 1848). В одном из «писем от Стародума» Фонвизин заявляет, что «Демосфен и Цицерон в той земле, где дар красноречия в одних похвальных словах ограничен, были бы риторы не лучше Маскима Тиряннина; а Прокопович, Ломоносов, Елагин

и Поповский в Афинах и Риме были бы Демосфены и Цицероны; по крайней мере церковное наше красноречие доказывает, что россияне при равных случаях никакой нации не уступают» (Фонвизин, 2, 64).

Многочисленные комплиментарные или по крайней мере заинтересованные отзывы о Хераскове М.Н. Муравьева (1757–1807), который считал Хераскова одним из своих учителей, недавно были собраны В.Н. Топоровым (Топоров, 3, 157–162; из более ранних работ см.: Кочеткова 1994, 110–114). Здесь приведем лишь тот фрагмент «Опыта о стихотворстве» (1775, 1780), который связывает Хераскова с Ломоносовым:

Трубою мог звучать великий Ломоносов
И тот, кто проводил в Чесмески волны россов.
Но празден дух его, и со Вергильем Тасс
Увидят своего соперника у нас

(Муравьев 1967, 135).

Разумеется, апологетические отзывы о Ломоносове не означали, что Сумароков «сумароковцами» / «херасковцами» вообще отвергался, недооценивался или, тем более, третировался. Напомним в этой связи достаточно показательный фрагмент из «письма» Ф.Г. Карина к Н.П. Николеву:

После Феофана г. Ломоносов и Сумароков привели наш язык в то совершенство, которое видим мы в их сочинениях. Один из них будучи основателем светския кафедры, открыл не только свойственности, сочиняющие высокое строение речи, но вознося в высочайшие пределы воображения, при силе, крепости, и согласии славянского языка, такое дал богатство нашему языку, какого тот не имеет. А другой, чувствуя коль старый наш язык противен трагедии, странен комедии, суров для елегии, высок для еклоги, не складен для оперы, тяжел для притчей, и коль сатиры кантемировы оказывают его для себя неприятность, преодолел все сии препятствия, проник до самого источника красоты стихотворства и простой речи, и тем преобразил его, и дал ему новую силу

(Карин 1778, 6–7).

Но отзывы эти означали, что ими был безусловно отвергнут его антиломоносовский ригоризм, а вместе с тем его односторонность. Насколько можно судить по имеющимся данным, той же позиции придерживались при дворе, в том числе в кругу братьев Паниных; совершенно недвусмысленное тому подтверждение содержится в известных записках С.А. Порошина (записано под 4 ноября 1764 г.; разговор, как видно из контекста, велся в присутствии Н.И. Панина):

Разговорились о Ломоносове и о Сумарокове. Сказывал я графу Ивану Григорьичу <Чернышеву> о ссоре Александра Петровича с графиней Варварой Александровной Бутурлиной в Москве, и о смешном его тут сравнении себя с гр. Александром Борисовичем Бутурлиным, отцом ее. Со всем тем об обоих сих сочинителях российских к совершенному моему удовольствию с похвалою рассуждали. Его Превосходительство Петр Иванович <Панин> весьма справедливое рассуждение наконец сделал, что как они двое переведутся, так Божией милостью не видать еще, кто б нам вместо их служить могли

(Порошин 1844, 116; то же: Порошин 1881, 207).

По-видимому, речь должна идти о существовании единой позиции в вопросе о борьбе Ломоносова и Сумарокова, объединявшей литературные круги (по крайней мере «херасковцев») с той частью политической элиты, которая заинтересованно наблюдала за тогдашней русской литературой. Эту борьбу рассматривали как дело второстепенное, а на первый план выдвигалось представление о ценности сделанного обоими антагонистами (что, в принципе, не означало автоматического признания их равенства и одинаковой ценности для русской культуры). В наиболее радикальном виде эта позиция была заявлена через много лет после обсуждаемых здесь событий в поздней книге хорошо осведомленного о литературных реалиях екатерининского времени С.Н. Глинки (1776–1847), посвященной Сумарокову. Эту книгу мы считаем возможным обсудить подробнее.

С.Н. Глинка о Ломоносове и Сумарокове

Книга Глинки полемическая, причем полемику он ведет на два фронта: и с теми, кто ставит Ломоносова выше Сумарокова, и с теми, кто противопоставляет их друг другу. Глинка пишет:

Слышал я от некоторых наших писателей, что *Сумароков* был врагом *Ломоносова*; врагом преобразователя Русского языка! *Во первых*; Сумароков и Ломоносов в одно время и на различных поприщах нашей словесности преобразовали Славяно-Русский язык. Они оба изобретали новый слог, новые обороты для выражения мыслей и для высказывания словом движений души и сердца. В этом последнем отношении Сумароков сделал более Ломоносова. *Во вторых*; Сумароков никогда не был врагом Ломоносова, и <...> не мог быть, ибо он уважал его. <...> Авторское самолюбие <...> делало их соперниками, <...> а не врагами. Но это самолюбие <...>, подстрекающее соревнование на всех тропах искусства и наук, не означает ни злобы, ни ненависти. Сумароков спорил с Ломоносовым не о блестящих достоинствах мира чиновного; он с ним спорил о правилах грамматических. <...> Наконец; во всех человеческих обстоятельствах, находятся, так называемые: *добрые люди*, которые или из зависти, или для забавы бросают яблоко раздора и между писателями и между художниками и между сословиями всех людей

(Глинка 1841, 1, 77–79).

Итак, Глинка, во-первых, связывает Ломоносова и Сумарокова как поэтов, которые были естественными союзниками, поскольку решали одну и ту же задачу, имевшую общекультурное значение; во-вторых, он прекрасноразумно разъясняет, что самолюбие не обязательно влечет за собою злобу; в-третьих, понимая, что этих разъяснений в данном случае недостаточно, перекладывает вину за слишком радикальные формы, в которые облекалось подчас соревнование поэтов, на неназванных им подстрекателей. В другом месте своей книги, полемизируя с мнением П.А. Вяземского о Ломоносове – родоначальнике русской литературы, Глинка подробно развивает тезис о равно-

великости Ломоносова и Сумарокова в том, что касается их вклада в русскую культуру:

Они оба были *родоначальниками* светского или гражданского нашего языка; они оба двинули русскую словесность на всех ее путях и двинули ее собственно своею мыслию, и собственными своими выражениями изобретаемого ими слога. Каждому из них, как будто предназначено было <...> обратить внимание на различные предметы, чтобы в одно время и нераздельными силами убыстрить ход нового Русского слова. Ломоносов то парил с Пиндаром полетом лирическим; то спускаясь из дали заоблачной на землю обтекал мыслию все области видимой и сокровенной природы на каждом шаге своем рассыпал новое богатство выражений, приличных сущности его предмета. Сумароков, выходя из области Мельпомены и Талии, разбирает все тонкости тогдашней Философии; обозревал и выражал все действия мира нравственного; а что еще важнее, вместе с выражением того мира, предъявлял <...> все то, что созидает благо быта общественного и человеческого. <...> Решительно можно сказать, что такого удивительного явления, какое представляет Ломоносов и Сумароков, не было ни где и ни в какой словесности. <...> Не будем их разделять: они оба родоначальники новой русской словесности и чем более будет она процветать, тем более будут созреть первоначальные их заслуги

(Глинка 1841, 1, 194–197).

Всего этого Глинке показалось недостаточно, и он подробно разбирает вопрос в обширной – более сорока печатных страниц – первой главе второй части своего труда. Он обсуждает сходство суждений Ломоносова и Сумарокова об «отечественном слове» (Глинка 1841, 2, 1–2), после чего возвращается к своему тезису об их равноправии и опирается при этом на Сумарокова:

Изобретение новой русской словесности, есть нераздельное *творение* и Сумарокова и Ломоносова; нераздельное потому, что каждый из них своею мыслию, без всякого постороннего руководства пролагал пути слову русскому <...>. Но Ломоносов более *известен* слогом лирическим; я говорю *известен*, а не прибавляю, будто бы он особенно изобрел его: ибо <...> Сумароков писал лирическим слогом еще в сте-

нах кадетского Корпуса 1736 года, а Ломоносов, находясь за границей, препроводил оттуда первую оду свою 1739 года. Вот как объясняется об этом Сумароков: «Ломоносов несколькими годами был меня по-старее; но из этого не следует, будто бы я его ученик; о чем, ни мало не трогая чести сего поэта, предуведомляю потомков»

(Глинка 1841, 2, 3).

Глинка не считает нужным входить в рассмотрение этого «лирического слога» Сумарокова 1736 г., ему достаточно сопоставления дат. Далее он вновь опровергает мнения тех, кто считает, что «Сумароков питал, какую-то враждебную ненависть к Ломоносову» и в качестве доказательства приводит стихи Сумарокова на смерть Ломоносова и разъясняет, что критика Сумароковым слога его од была «знаком уважения и внимания к дарованию и трудам писателя и поэта» (Глинка 1841, 2, 4–5) и т.д. На этот раз он полемизирует уже не с Вяземским, а с Карамзиным, вновь и вновь повторяя свое мнение о неразделимости Ломоносова и Сумарокова:

Сближая <...> Лирические произведения двух наших поэтов, я не скажу с Карамзиным, будто бы: «Ломоносов был *первым* образователем нашего языка и *первый* открыл в нем изящность, силу и *гармонию*». Это общий подвиг Ломоносова и Сумарокова. «Гений Ломоносова, прибавляет Н.М. Карамзин: советовывался <так!> только с самим собою». И Гений Сумарокова точно так же действовал

(Глинка 1841, 2, 14).

Итак, Карамзин и его воспитанник Вяземский, отнюдь не тяготившие в целом к «высокому слогу» Ломоносова, видят именно в нем поэта, сыгравшего ключевую роль в истории русской литературы, а «архаист» Глинка стремится эту роль ограничить утверждением в равных правах с Ломоносовым Сумарокова.

К вопросу о «синтезе»

Компромиссная позиция, занятая в вопросе о Ломоносове и Сумарокове столь многими значительными и влиятельными поэтами, непосредственно связанными с Херасковым, позволяет вернуться к вопросу о ломоносовско-сумароковском синтезе, который Гуковский связывал с Державиным (преимущественно ранним) как с поэтом, его практически осуществившем и потому занявшем исключительно своеобразное положение в истории русской литературы (Гуковский 1927, 185–201; Гуковский 1925, 359–365; о соотношении текстов этих статей см. у В.М. Живова: Гуковский 2001, 14). Данный элемент концепции Гуковского представляется нам наиболее обоснованным и в полной мере сохраняющим актуальность. Разумеется, наблюдения Гуковского могут уточняться, некоторые из них выглядят более, некоторые – менее убедительными, дело не в этом: вся совокупность его наблюдений вряд ли может быть или по крайней мере до сих пор не опровергнута и не поставлена под сомнение. Живов с полным основанием напоминает о значении Тредиаковского для Державина («<...> в ученической эклектике Державина [а отсюда и в его зрелом синтезе] просматривается и наследие неудачливого начинателя новой русской поэзии <...>» [Гуковский 2001, 20–21]).

Действительно, в творчестве Державина сменяют друг друга две тенденции (вряд ли всеобъемлющие). Сначала он сдвигает оду из сферы «высокого» стиля в сферу стиля «среднего» (подчас сближенного с «низким») и осмысляет этот сдвиг как обретение «забавного русского слога», позволяющего «макаронически» (ср.: Успенский 1995, 340) сочетать ломоносовское торжественное «парение» с сумароковской «легкостью» и точностью выражения. Потом, уже в зрелые и еще более преклонные годы, он движется в обратном направлении, то есть не от Ломоносова к Сумарокову, а от Ломоносова к позднему Тредиаковскому, от «высокого» к сверхвысокому, то есть к «глубокословной славенщизне», глубокой архаике, которую Ломоносов, в принципе, выводил за пределы «высокого» стиля; в это именно время он становится во главе «Беседы любителей русского слова», а указанная тенденция достигает полного развития в оде «Христос» (1814)

и антинаполеоновских одах (см. в частности «Гимн лиро-эпический на прогнание Французов из отечества» [1812]).

Говоря все это, мы считаем нужным подчеркнуть, что речь идет не о текстуальных «заимствованиях» у Ломоносова, Сумарокова, Тредиаковского, а именно о стилевых тенденциях («доминантах»), обнаруживших себя в их поэзии.

Но литературная эволюция Державина должна быть как-то мотивирована: если он обходит некий «центральный» уровень, то опускаясь ниже, то поднимаясь выше него, то это означает, что уровень этот уже «занят», с ним работают, и достаточно успешно: в противном случае непонятно, для чего было совершать столь нетривиальные кульбиты.

Естественно предположить, что «центр» был уже занят Херасковым (и поэтами его группы). Как и Державин, Херасков, не порывая с ломоносовским «высоким», движется в сторону сумароковского «среднего», но не столько обыгрывает возникающие несоответствия, сколько стремится привести их к гармонии: «макаронический» стиль не является его ориентиром (ср.: Соколов 1955, 170–172). Это было начало той линии русской поэзии, которая, пройдя через множество влияний и модификаций, подготовит почву для стиля Карамзина (ср.: Благой 1945, 279), а в пределе и для пушкинской «гармонической точности» – правда, произойдет это тогда, когда о первом серьезном шаге в данном направлении, сделанном Херасковым, уже никто не будет помнить.

Итак, зафиксируем напрашивающуюся гипотезу: херасковский «синтез» предшествовал державинскому и уже самим фактом своего существования многое предопределил в его поэзии.

Майков и его образ истории русской литературы

Разумеется, книга Глинки не была первым сочинением, в котором Ломоносов обсуждался в связи с историей русской литературы. Более ранние представления об этом, причем присущие именно херасковскому кругу, зафиксированы в четырех стихотворных «надписях» В.И. Майкова, напечатанных без имени автора в последнем номере

новиковских «Санктпетербургских ученых ведомостях» 1777 г. Первая посвящена Феофану Прокоповичу:

Великого Петра дел славных Проповедник,
Витийством Златоуст, Мус <так!> чистых Собеседник,
Историк, Богослов, Мудрец Российских стран –
Таков был Пастырь стад словесных Феофан.

Вторая – Кантемиру:

Сей Муж породю и саном быв почтен,
Был Мусам верный друг до смерти от пелен.
Ко добродетели он путь всегда свой правил,
И житием своим свой род и сан прославил.
Сей первый правильных Творец у нас Сатир –
Прехвальный разумом и нравом Кантемир.

Третья – Поповскому:

Что Попе, *мудрствуя*, писал о человеке
И в Англии себе чем славу заслужил
В Елисаветинном, для Мус блаженном веке,
Поповский то в стихи Российски преложил,
И в преложении хвалою увенчался.
Но если б сей Пиит так скоро не скончался,
Желанной чистоты стихов бы он достиг,
И Славу бы *гласить* о них везде подвиг.
Но время строгое, всего *рушитель* света,
Пресекло жизнь его в его цветущи лета.

Четвертая – Ломоносову:

Сей Муж в себе явил Российскому пароду,
Как можно *съединять* с наукою природу.
Когда *торжественно* на Лире он гремел,
Он гром соединять с приятностью умел;
Натуры ль открывал нам храм приятным словом,
Казался важным быть и в сем убранстве новом,
Великого ль Петра число великих дел
Во Ироической своей поеме пел,
И тамо показал себя он честью россов, –

Таков-то был велик почтенный Ломоносов.
С наукой в нем блистал его природный дар;
Он был наш Цицерон, Вергилий и Пиндар

(Майков 1777; ср.: Майков 1966, 284–285).

Это именно та последовательность имен, которая была значима для Хераскова: выше мы имели уже случай отметить, что с Кантемиром и Феофаном («ученой дружиной») был связан дружескими отношениями Н.Ю. Трубецкой, а Ломоносова, как мы только что видели, Херасков сам называл своим учителем. Все эти «надписи» были ответом Майкова на предложение издателя «Санктпетербургских ученых ведомостей», адресованное современным стихотворцам, прославить знаменитых ученых и писателей в стихотворных «надписях» к их «изображениям». В их числе не был назван Ломоносов, и Майков, известный своим в целом вполне благожелательным отношением к Сумарокову (что, в частности, зафиксировано в одах 1772 и 1776 г., а также в «надгробной надписи» Сумарокову 1777 г. [Майков 1966, 247–250, 253–254, 284]), написал о Ломоносове по собственному почину, а в не дошедшем до нас письме к Н.И. Новикову даже попенял ему на забывчивость; во всяком случае последний счел нужным печатно оправдаться:

Впрочем, чтоб удостоверить г. Сочинителя сих *надписей* в чистосердечии нашем, о коем упоминает он в письме своем, то скажем в ответ, что сочинение надписи к личному изображению Михайла Васильевича Ломоносова, не предложили мы не от забвения, но для того, что она уже была сочинена Николаем Никитичем Поповским. Мы надеемся, что искренность г. Сочинителя согласиться с нами отдать справедливость покойному Профессору Поповскому

(Санктпетербургские ученые ведомости. 1777. № 22. С. 173–174).

И далее Новиков печатает «надпись» Поповского, которую, судя по всему, считает непревзойденной. Этот текст мы приведем ниже, поскольку у нас есть все основания перейти к обсуждению Поповского, творчество которого Новиков и Майков так высоко ценили, и, конечно, неслучайно.

Поповский (1)

Этот ученик Ломоносова, многим, если не всем, ему обязанный, оказывается в кругу «херасковцев» – вкладчиков «Полезного увеселения», и при этом ничто не указывает на то, что Ломоносов изменил к нему отношение, а вместе с тем нет никаких оснований говорить о предательстве Поповского, переметнувшегося на сторону врагов своего учителя. Допустим, что по условиям работы в Московском университете Поповский должен был искать опоры в литературно-общественной среде Хераскова, поскольку именно она, и прежде всего, конечно, Херасков, определяла университетскую жизнь. При этом Поповский, сохраняя расположение Ломоносова, пользовался покровительством И.И. Шувалова, который в качестве куратора университета был тесно связан с Херасковым, и Херасков должен был с ним считаться. Но при всей важности прагматических соображений, которые никто не предлагает сбрасывать со счета, должны были иметь место и другие, собственно литературные: в противном случае факт публикации Поповского в журнале Хераскова выглядел бы странно.

Эти другие соображения были связаны с осуществленным Поповским переводом поэмы Александра Поупа «Опыт о человеке» (Поповский 1757), имевшим непростую цензурную историю, в которую оказались вовлечены Шувалов, синод, Ломоносов с его «Гимном бороде» и рядом сопутствующих текстов. Перевод был признан Херасковым и его кругом одним из важнейших событий в истории русской литературы, а поэма Поупа, читавшаяся и в переводе Поповского, неоднократно переиздававшаяся, и в других переводах на русский язык, и в переводах на французский, и на языке оригинала, оказалась одним из ключевых текстов для русской литературы второй половины XVIII в., особенно для той ее части, которая выдвигала тему «внутреннего человека» в ее масонских контекстах. Для литературной группы Хераскова Поповский – переводчик Поупа оказался фигурой первостепенной важности: данная группа уже начинала подходить к той проблематике, которая в полной мере развернется значительно позднее в деятельности Новикова, его типографической компании и его «Дружеского общества», и образцы освоения которой не могли

быть найдены ни у Ломоносова, ни у Сумарокова. Однако перевод Поповского стилистически был близок именно к поэзии первого, и по этой причине «херасковцы», ценившие «умеренный» слог Сумарокова, открыли для себя новое измерение ломоносовской риторической сложности, обогащенной нужной им проблематикой; показательно, что отрывки из перевода Поповского, к тому времени уже напечатанного полностью, были помещены в «Полезном увеселении»; а затем полный текст перевода был перепечатан университетом (Поповский 1763) и, много лет спустя, Новиковым (Поповский 1787). О том, как именно воспринимался Поповский в кругу Хераскова, дает некоторое представление статья, напечатанная Новиковым в его словаре; приведем ее почти полностью.

Новиков писал:

ПОПОВСКИЙ НИКОЛАЙ НИКИТИЧ, был при Императорском Московском университете Профессором Красноречия и Магистром Философии, умер 1760 года; был человек острый, ученый и совершенно искусный в стихотворстве. <<Опыт о человеке>> славного в ученом свете Попия перевел он с Французского языка на Российский, с таким искусством, что по мнению знающих людей гораздо ближе подошел к подлиннику и не зная Англинского языка, что доказывает как его ученость, так и проникание в мысли Авторские. Содержание сей книги столь важно, что и прозою исправно перевести ее трудно: но он перевел с Французского, перевел в стихи, и перевел с совершенным искусством, как Философ и Стихотворец; напечатана сия книга в Москве 1757 года. Он переложил с Латинского языка в Российские стихи Горациеву епистолю о стихотворстве и несколько из его од; также перевел прозою книгу о воспитании детей, состоящую в двух частях, славного Лок<к>a: сей перевод по мнению знающих людей едва не превосходит ли и подлинник. Он сочинил несколько речей, читанных в публичных собраниях; но напечатана из них только одна в ежемесячных Академических сочинениях 1755 года; и также писал торжественные оды. Вообще стихотворство его чисто и плавно, а изображении просты, ясны, приятны и превосходны. Умер он не старее 30 лет от рождения, к сугубому сожалению любителей Российского стихотворства; ибо лишился в нем одного из лучших стихотворца, и смертью его лишился таких сочинений и переводов, которые по достоверным извести-

ям делали бы честь покойному. Он перевел было большую половину *Тита Ливия*, много *Анакреонтовых од* и сочинил многие собственные стихотворные пьесы; но за несколько дней до смерти своей, к великому сожалению, всех их сжег, почитая не довольно исправными к изданию в свет и опасаяся, чтобы друзья его по смерти не напечатали их. Должно думать, что любочестие его, в рассуждении сего столь было велико, что он не иначе хотел издавать свои переводы и преложения в стихи, как только превосходшими подлинников; а свои сочинения тогда только, когда бы сравнялись они с наилучшими Европейскими писателями: ибо изданные им в свет книги, напечатаны по великому только усилию таких особ, коим не мог он отказать

(Новиков 1772, 167–170; полностью перепечатано в изд.: СИ, 11, 147–148).

Итак, Поповский – поэт, сверхкритично относящийся к своим сочинениям и при этом в совершенстве владеющий поэтическим искусством. Его ранняя смерть есть потеря для культуры, поскольку он принадлежал к числу «лучших стихотворцев». Он не только переводчик, но и соперник, его переводы превосходят подлинники, он не без оснований стремится сравняться с европейскими поэтами (судя по всему, не только новыми, но и древними). Он обладает культурной интуицией: не зная английского, он переводит Поупа с французского, и конгениально, выступив не только как поэт, но и как философ. К этим двум амплу прибавляется третье: он педагог, преподающий в Московском университете, и переводчик Локка, в высшей степени актуального для новиковского круга, а также, как мы видели, для Бецкого и Дашковой (ср. Модзалевский 1958, 164). Говоря все это, Новиков поддерживает свой апологетический отзыв двойной ссылкой на «мнение знающих людей», подчеркивая тем самым, что литературная репутация Поповского уже сложилась, и он не конструирует, а лишь фиксирует ее как несомненную культурную реальность. При этом он заявляет, что у Поповского были высокие покровители, которым он не мог отказать в напечатании своих произведений и которые принимали для того «величайшие усилия».

Слог ученика Ломоносова, как считает Новиков, в полной мере соответствует тем критериям, которые обычно рассматриваются как

«сумароковские» («стихотворство его чисто и плавно, а изображении просты, ясны, приятны и превосходны») и которые в действительности на языке обсуждаемой эпохи характеризуют всякую истинную поэзию (ср. эпитеты «чист» и «приятен» в характеристике слога Ломоносова [Новиков 1772, 127]). В статье о Ломоносове Новиков, приводя два комплиментарных стиха Сумарокова и обозначив тем самым нежелание каким бы то ни было образом обсуждать их антагонизм, цитирует полностью «надпись» Поповского к портрету Ломоносова, впервые без имени автора помещенную в первом томе второго издания сочинений Ломоносова, начатого печатанием в том же 1757 г., когда вышел в свет перевод поэмы Поупа, а законченного в августе 1758 (на титульном листе остался 1757 – см. подробнее: СК, 2, 164), когда и был отпечатан, в частности, портрет Ломоносова со стихами Поповского:

Московской здесь Парнасс изобразил Витию,
Что чистой слог стихов и прозы ввел в Россию.
Что в Риме Цицерон и что Виргилий был,
То он один в своем понятии вместил, –
Открыл природы храм богатым словом Россов;
Пример их остроты в науках Ломоносов

(Новиков 1772, 129; то же: Поповский 1758).

Итак, стихами Поповского открывается издание Ломоносова, одно из первых изданий, предпринятых в новообразованном Московском университете, инициированное его куратором Шуваловым (которому некоторое время приписывалась и надпись Поповского [Глинка 1961, 10–11]) и осуществлявшееся не без участия Хераскова, в ведении которого уже находилась университетская типография. Тот факт, что именно Поповскому было поручено сочинить стихи к этому изданию, многое говорит как о его литературной репутации в это время, так и о его отношениях с Ломоносовым (см. о них подробнее: Модзалевский 2011, 108–246), без разрешения которого они вряд ли были бы утверждены к печати.

Наконец, напомним, что Поповский в Московском университете попытался воспроизвести некоторые аспекты культурной политики, которую пытался внедрить в политическую повестку дня Ломоносов. Так, Поповский выступил против иностранных профессоров, конфликт с которыми был обусловлен, по-видимому, его требованиями преподавания в университете на русском языке. Вероятно, следствием этого конфликта было увольнение Поповского из университета в ноябре 1758 г. (впрочем, подробности этой истории еще не до конца разъяснены).

Этим практически исчерпываются дошедшие до нас сведения об отношении Поповского к Ломоносову. Как видим, нет ничего, что могло бы рассматриваться как хотя бы косвенное свидетельство о каком-то разрыве ученика и учителя или хотя бы об их отдалении друг от друга.

Не говорим уже о том, что Шувалов, контролировавший деятельность университета, не допустил бы литературной войны с Ломоносовым со стороны университетских структур, если бы кто-то, в эти структуры входивший, попытался бы ее начать.

Однако не было и желающих начинать войну. Мы видели, что вопрос о Ломоносове и Сумарокове был решен просто и оптимально: Херасков и его литературная группа хотели не противостояния, а синтеза, не разъединения, а консолидации, а потому отказывались выбирать между Ломоносовым и Сумароковым и стремились сочетать открытые ими возможности, и именно эта синтетическая позиция утвердилась в русском литературном сознании – при общем преобладании ломоносовской темы.

Была для столь миролюбивой позиции и дополнительная причина: Ломоносов активно включился в борьбу, развернувшуюся вокруг переведенного Поповским Поупа. Именно с этой борьбой связан известный ломоносовский памфлет, на вопросе о смысле которого нам придется сейчас остановиться подробнее.

«Гимн Бороде», Поуп и Московский университет

В истории литературы, в той мере, в какой она способна включить в себя историю идеологий и культурных проектов, т.н. «мелочи», понятия как симптомы скрытых или недостаточно проясненных процессов, могут приобретать важное, иногда и ключевое значение.

Одна из таких «мелочей» – ломоносовский «Гимн бороде», который находится явно на периферии литературной деятельности Ломоносова, не оказал сколько-нибудь заметного влияния на литературный процесс и в этом смысле с неизбежностью должен рассматриваться как произведение маргинальное.

Тем более несущественными можно было бы признать содержащиеся в этом тексте и сопутствующие ему грубые полемические эскапады, которые позволяли себе участники полемики, и в первую очередь Ломоносов, договорившийся и дописавшийся до вполне вульгарных именовании членов Синода «козлятами малыыми» и «козлами» (Ломоносов АН 2, 628, 629).

И все же такое решение было бы поспешным: появление маргинальных текстов иногда оказывается симптомом существенных процессов, формирующих литературную жизнь.

Ломоносовский пасквиль, как известно, привлек к себе неблагоприятное внимание Синода, который 6 марта 1757 г. утвердил «всепопданнейший доклад» «Об уничтожении чрез палача пасквильных стихов, под названием: “Гимн бороде”». В докладе, подписанном архиепископом Санкт-Петербургским Сильвестром, епископом Рязанским Димитрием, епископом Переяславским Амвросием и архимандритом Донским Варлаамом, говорилось:

В недавнем времени проявились в народе пасквильные стихи, написанные: «Гимн бороде», в которых не довольно того, что тот пасквильянт, под видом якобы на раскольников, крайне скверныя и совести и честности христианской противныя ругательства генерально на всех персон, как прежде имевших, так и ныне имеющих бороды, написал, но и тайну святого крещения, к зазрительным частям тела человеческого находя, богопротивно обругал, и чрез название бороду

ложных мнений завесою всех святых отец учения и предания еретически похулил; и когда, по случаю бывшего с профессором Ломоносовым свидания и разговора о таком вовся непотребном сочинении Синодальных членов рассуждаемо было, что оный пашквиль, как из слогу признавательно, не от простого, но от какого-нибудь школьного человека, а чуть и не от него ль самого произошел, и что таковому сочинителю, ежели в чувство не придет и не раскается, надлежит как казни Божии, так и церковной клятвы ожидать, то услыша, означенный Ломоносов исперва начал свой пашквиль шпински защищать, а потом, сверх всякого чаяния, сам себя тому пашквильному сочинению автором оказался, ибо в глаза пред Синодальными членами таковыя ругательства и укоризны на всех духовных за бороды их произносил, каковых от доброго и сущего христианина надеяться отнюдь не можно, и, не удовольствуясь тем еще, опосля вскоре таковой же другой пашквиль в народ издал, в коем, между многими явными уже духовному чину ругательства, безразумных козлят далеко почтеннейшими, нежели попов ставит, а при конце, точно их назвавши козлами, упомянутую ему при рассуждении церковную клятву за единую тщету вменяет, из таковых не христианских, да еще от профессора академического, пашквилев не иное что, как только противникам православной веры и таковым предрезателем к бесстрашному кощунству святых Таин и к ругательству духовного чина явный повод происходит и впредь, ежели не пресечется, происходить может; а понеже, между прочими, вседражайшаго Вашего Императорского Величества Родителя блаженныя и вечной славы достойныя памяти Государя Императора Петра Великого правами жестокия казни хулителям закона и веры чинить повелевающими, Военного артикула, главы 18, 149 пунктом, пашквилей сочинителей наказывать, а пашквильныя письма чрез палача под виселицею жечь узаконено, того ради со оных пашквилев всеподданнейше Вашему Императорскому Величеству подносит Синод копии и всенижайше просит, чтоб Ваше Императорское Величество, яко Богом данная и истинная церкви и веры святой и духовному чину защитница, Высочайшим своим указом таковыя соблазнительныя и ругательныя пашквилы истребить и публично сжечь, и впредь то чинить запретить, и означенного Ломоносова, для надлежащего в том увещания и исправления, в Синод отослать Всемиловнейше указать соизволила

(ПСПр, 4, 282–283).

Текст этого «доклада» вызывает ряд недоумений. В самом деле, если члены Синода не знали об авторстве Ломоносова, зачем вообще они его расспрашивали о «Гимне бороде»? Почему при этом они не топились действовать, и только после второго «пашквиля» выступили с этим своим «докладом» (ср.: Ломоносов АН 2, 8, 1068)? Далее: почему Ломоносов не только не скрывал свое авторство, не только не остановился перед крайне резкими выпадами в адрес синодалов в ходе беседы с ними, но и написал второй «пашквиль», еще более повышая градус скандала и фактически вынуждая Синод действовать, – и при этом, судя по всему, не только не опасался серьезных для себя последствий, но и не обманулся в своих расчетах: «доклад» остался без высочайшего ответа? Доступные нам свидетельства не дают прямого ответа на эти вопросы.

Ситуация смысловой неопределенности усугубляется тем обстоятельством, что «Гимн бороде», который многократно печатался и неоднократно комментировался¹¹, остается закрытым текстом, для прояснения смысла которого оказалось недостаточно показаний дошедших до нас источников, прошедших критическую проверку.

Вот еще лишь несколько вопросов, на которые мы также не можем ответить с необходимой степенью полноты и доказательности. Первый: ломоносовский пашквиль адресован одному человеку или какой-то группе в Синоде, или, наконец, всем членам Синода (при том, что совершенно не исключено совмещение этих адресаций)? Второй: только ли Синод он задевает? Третий: если допустить, что «Гимн» адресован не (или не только) группе адресатов, но и конкретному лицу или лицам, то кому именно? Четвертый: почему тема «раскольников» оказалась связана с синодальной, и более определенно: Ломоносов связал «бороду предорогую» того синодала, к которому обращены соответствующие строки, с расколом («Керженцам любезный брат» [Ломоносов АН 2, 8, 620])? В самом деле, утверждать, как это обычно делают комментаторы, что бороды синодалов воспринимались то ли Ломоносовым, то ли его читателями как проявление не-

¹¹ Первая публикация, вместе с рядом сопутствующих текстов, по тексту т.н. Казанского сборника: Афанасьев 1859, 15, 461–476; 17, 513–516; сводки данных о других списках: Ломоносов АН, 2, 158–161; Ломоносов АН 2, 8, 1059–1060. Комментарии: Ломоносов АН, 2, 158–182; Ломоносов АН 2, 8, 1059–1071.

приятия революции Петра, который бороды брил, уничтожая обычаи косной старины, нет особенных оснований: в этом случае пришлось бы признать, что смысл «Гимна бороде» состоит в требовании обрить членов святейшего синода. Остается предполагать, что смысл пьесы и, в частности, отождествления адресата со старообрядцем заключается в чем-то ином. В чем именно? Пятый: почему Синод отреагировал на хулиганские стихи Ломоносова столь болезненно? Шестой: почему «Гимн бороде» вызвал обширную полемику, в ходе которой прибегали к мистификациям, к обращениям к верховной власти, к резким оскорблениям? И наконец, главный вопрос: что стало поводом для этой сатиры? Ведь даже с учетом вспыльчивости Ломоносова, его самолюбия, его дерзости и смелости, его обычной уверенности в собственной правоте, его склонности к сведению личных счетов сочинение и распространение «Гимна бороде» производит впечатление поступка, слишком странного, чтобы он не имел какой-то серьезной подоплеки. И здесь круг этих и подобных вопросов замыкается: не зная адресата, не узнаем и этой подоплеки.

Мы не стремимся изменить эту ситуацию принципиально: у нас нет новых материалов, и задача ее только в том, чтобы предложить некоторые частные уточнения к академическому комментарию на «Гимн бороде» и, вместе с тем очертить границы культурно-идеологического контекста этого произведения.

Начнем с вопроса об адресате. Обычно рассматриваются две кандидатуры на эту роль: митрополит Сильвестр (Кулябка) и митрополит Димитрий (Сеченов). Поскольку данных, позволяющих идентифицировать адресата, нет, приходится довольствоваться косвенными свидетельствами, которых немного¹².

Ранние и при этом авторитетные атрибуции указывают на митрополита Димитрия; так, именно его считали автором адресованных Ломоносову ответных полемических стихотворений кн. П.А. Вяземский и А.С. Пушкин, весьма осведомленные в литературных делах

¹² В свое время П.Н. Берков, в полной мере понимая это прискорбное обстоятельство, самым серьезным образом решил предложить своим читателям опыт сравнительно-исторического сопоставления длины, густоты и пышности бород Сильвестра и Димитрия и пришел к выводу, что именно борода последнего могла вдохновить Ломоносова на сочинение его гимна (Берков 1936, 212).

XVIII в. (см.: Рукою Пушкина 1935, 563–569); естественно предположить, что отвечал тот, кто был задет в «Гимне бороде» или, по крайней мере, считал себя задетым, а потому приходится рассматривать версию о нем как об адресате «Гимна» обоснованной.

На Димитрия же указывает текст «Гимна бороде», и именно упоминание о Керженце. В известном (и до сих пор в полной мере сохраняющем свое значение) комментарии по этому поводу говорится:

Сеченов, бесчеловечно обращавшийся с иноверцами, гораздо снисходительнее относился к раскольникам, прибежище которых, река Керженец, протекала в пределах его епархии <...>. Если весь «Гимн бороде» в целом был адресован не Сеченову, а другому духовному лицу, то несколько туманная строфа 5 этого «Гимна», где упоминается какой-то «керженцам любезный брат», метила, может быть, в Сеченова. Ведь не случайно же, в самом деле, говорит здесь Ломоносов именно о керженских раскольниках, а не об архангельских, которых знал гораздо ближе

(Ломоносов АН 2, 8, 1077).

Здесь допущена только одна неточность, правда существенная: о каком-то «снисходительном» отношении митрополита Димитрия к раскольникам ничего не известно. Но сама неточность эта вплотную подводит если не к решению вопроса, то к рассмотрению достаточно существенных обстоятельств, с ним связанных.

В Нижегородской губернии дела со старообрядцами обходились следующим образом. Митрополит Питирим, предшественник Димитрия на нижегородской кафедре (о нем см.: Морохин 2009, а также: Морохин 2005), разгромил Керженец и вынудил многих и многих старообрядцев либо обратиться, либо бежать в другие губернии. Вопрос, таким образом, мог считаться решенным, а потому митрополит Димитрий, назначенный на кафедру 10 сентября 1842 г., счел более актуальным вопрос об обращении иноверцев (чем, собственно, занимался и ранее, с сентября 1740 г. возглавляя, в соответствии с указом императрицы Анны, Контору новокрещенских дел и проповедуя «среди иноверцев Казанской, Нижегородской, Астраханской и Воронежской епархий» [Кочетов; Галкин 2007, 93]). И тогда началось массовое

возвращение старообрядцев, возрождение Керженца. Подробнее обо всем этом см. Морохин 2002; здесь же приведены любопытные статистические данные: если, согласно подсчетам митрополита Димитрия, в 1743 г. в Заволжье насчитывалось менее 800 старообрядцев, то в 1754 г. их было без малого пять с половиной тысяч (Морохин 2002, 58).

Между тем общая ситуация с расколом в стране оставалась напряженной (хотя и не рассматривалась как критическая): она не просто постоянно оставалась в поле зрения властей, но и требовала все новых усилий с их стороны по стабилизации положения. Возобновлялось петровское законодательство о старообрядцах (см., напр., сенатский и синодский указ от 31 августа 1744 г. «О переписи в ревизию раскольников и о наказании за утайку душ» [ПСЗРИ, 12, 198–199]; сенатский указ «О новом подтверждении, чтобы раскольники и бородачи носили установленные прежними указами знаки» от 2 декабря 1752 г. [ПСЗРИ, 13, 737–739]), принимались новые законы и распоряжения (в частности: синодский указ от 22 июля 1753 г. «Об отсылке обвиненных в расколе Донских казаков, для исследования, к Епархиальному Архиерею» [ПСЗРИ, 13, 862]; сенатский от 4 октября 1753 г. «Об искоренении существующего в Сибирской Губернии суеверия о добровольном самосожигании» [ПСЗРИ, 13, 890–891]; сенатский от 7 февраля 1755 г. «О чинении Светскими Начальствами посылаемых от Духовного Правительства людям вспоможения в поимке раскольнических учителей» [ПСЗРИ, 14, 306–307]). См. также: ПСПР, 4, 112–114, 223–224, 261–262 и др.

В этом контексте напоминание в «Гимне бороде» о «заслугах» Димитрия оказывалось расчетливым и метким ударом: он фактически объявлялся одним из ответственных за положение дел в борьбе правительства с расколом, и единственным ответственным за положение дел в Нижегородской епархии. Вызывающе дерзкий характер ломоносовского текста особого значения не имел: в ходе инициированного им скандала заинтересованные лица (например, И.И. Шувалов, имевший ничем не ограниченную возможность апеллировать непосредственно к императрице) без особого труда могли дать властям соответствующие разъяснения, и при этом легко могло выясниться,

что пасквилянт и его детище гораздо менее вредны, чем решения, принятые некогда ортодоксом.

Итак, если действительно выпад в адрес Димитрия может рассматриваться как симптом скрытой интриги, то вопрос о причине и целях выступления Ломоносова резко повышается в своем значении. Здесь нам вновь придется обратиться к академическому комментарию, в котором этот вопрос обсуждался:

16 сентября 1756 г. Синод вернул куратору Московского университета И.И. Шувалову переведенную на русский язык профессором этого университета Н.Н. Поповским поэму английского писателя А. Попа «Опыт о человеке» с извещением, что «к печатанию оной книги Святейшему Синоду позволения дать было несходственно» <...>. «Издатель оныя книги,— заявлял Синод,— ни из священного писания, ни из содержимых в православной нашей церкви узаконений ничего не заимствуя, единственно все свои мнения на естественных и натуральных понятиях полагает, присовокупляя к тому и Коперникову систему, таже и мнения о множестве миров, священному писанию совсем не согласные» <...> Это <...> распоряжение Синода ‘задевало Ломоносова непосредственно: Поповского, своего любимого ученика, он неизменно поддерживал и выдвигал <...>; поэму Попа Поповский переводил под наблюдением Ломоносова; перевод был Ломоносовым одобрен и представлен <...> И.И. Шувалову как образец стилистического искусства Поповского <...>. Задет был и Шувалов, хлопотавший об опубликовании перевода

(Ломоносов АН 2, 8, 1062).

Данный эпизод представляется исключительно важным для понимания мотивов Ломоносова как автора «Гимна бороде» и Шувалова, его поддержавшего. Однако содержание определения Синода истолкование здесь неверно: Ломоносов если и был задет, то лишь косвенно, т.к. его имя в этом тексте вообще не было упомянуто. Вот этот текст:

1756 года Сентября 16 дня Святейший Правительствующий Синод, имея рассуждение о представленной Святейшему Синоду к рассмотрению, при доношении из Московского Императорского Университета, переведенной на Российский язык книге, называемой: “Опыт о

человеке”, о которой оной Императорский Университет, упомянутым доношением представляя, что де оная весьма, кажется, быть может не бесполезна учащемуся юношеству, но всякое де издание, в котором рассуждении о Божестве находятся, в Святейший Синод отсылаются, для лучшего рассмотрения и предосторожности от случающихся нечаянно противностей нашему закону и преданию святых отец, дабы де тем рассмотрением удержать от легковверных соблазнительного издания, требует, по рассмотрению Святейшего Синода, о дозволении оной напечатать указу; а понеже, по прочтении оной книги, Святейшим Правительствующим Синодом усмотрены многия, заключающиеся в ней, основания такая, которая и Священному Писанию противны и с православною христианскою нашею верою весьма несходны, следственно потому и учащемуся юношеству не точию полезны, но и соблазнительны быть могут, ибо издатели оныя книги, ни из Священного Писания, ни из содержимых в православной нашей церкви узаконений ничего не заимствуя, единственно все свои мнения на естественных и натуральных понятиях полагают, присовокупляя к тому и Коперникову систему, тако же и мнение о множестве миров, Священному Писанию совсем несогласныя, чего ради и к печатанию оной книги Святейшему Синоду позволения дать несходственно; того ради рассуждено: означенного Московского Университета куратору действительному камергеру и кавалеру господину Шувалову о означенном Святейшего Синода рассуждении чрез экспедициального секретаря объявить словесно, при чем и означенную книгу обратно ему вручить

(ПСПр, 4, 238–239).

Как видим, единственным объектом нападения здесь является Шувалов, который фактически объявляется ответственным за попытку публикации «противной закону» книги. Мало того: объясниться с ним и вернуть рукопись поручено секретарю, и это означает, что Синод не видит ни возможности, ни необходимости объясниться с ним на более высоком уровне. Это похоже на объявление войны, причем, повторим, не Ломоносову, не даже Поповскому, которым Синод также специально не заинтересовался, а именно Шувалову. Конечно, о реакции последнего мы можем только догадываться, но вряд ли ошибемся, предположив, что она отнюдь не была безразличной и что Ломоносов, обсуждая с Шуваловым возникшую ситуацию

(а в том, что такое обсуждение состоялось, не может быть никаких сомнений), уверился, что в случае продолжения конфликта Шувалов будет на его стороне.

Все это вряд ли возможно объяснить борьбой самолюбий (или, во всяком случае, только этим). За конфликтами такого уровня всегда стоят значительные события и проекты, претендующие на изменение идеологии формирования культурного пространства и на изменение границ и сфер влияния.

Единственным событием такого рода в середине 1750-х гг. стало учреждение Московского университета. Этот проект, разработанный Шуваловым и Ломоносовым, непосредственно затрагивал интересы Синода, резко ограничивая возможности его влияния на духовную культуру Москвы и общества в целом. Так, Московский университет почти с самого начала своего существования начал влиять на процессы формирования элиты (см., в частности, сенатский указ от 18 мая 1756 г. «О позволении недорослям из Шляхетства обучаться в Московском Университете, и о произвождении их в чины» [ПСЗРИ, 14, 571–573])¹³. При этом в университет переводились учащиеся духовных семинарий (см. напр., синодский указ от 3 мая 1755 г. «О назначении воспитанников духовных семинарий во вновь открытый в Москве Университет и о определении в оный законоучителя» [ПСПр, 4, 132–133]). Весной 1756 г. ситуация развивалась особенно динамично. Одним из принципиально важных событий стал сенатский указ от 5 марта:

Правительствующий Сенат, по доношению Московского Императорского Университета, П р и к а з а л и: оному Московскому Университету, который по Высочайшей Ея Императорского Величества апробации, кроме Правительствующего Сената, никакому месту не подчинен, с Коллегиями, Канцеляриями, Приказами и Конторами, Губернскими, Провинциальными и Воеводскими Канцеляриями, о

¹³ Отметим еще, что возможности Московского университета влиять на культурное пространство России постоянно усиливались и уже к 1757 г. распространялись не только на Москву, но и, в какой-то мере, на Петербург. Так, по представлению Московского университета сенатским указом от 6 ноября 1757 г. была учреждена в Санкт-Петербурге Академия художеств (ПСЗРИ, 14, 806–807).

принадлежащих до онаго Университета делах <...> сношения иметь, и в надлежащия места, кои состоят под одною Сенатскою дирекциею, а к Коллегиам не подчинены, писать промемориями, а в прочия места посылать указы, так как и другия состоящия под одною Сенатскою дирекциею Присутственныя места <...> сношения имеют, и оному Московскому университету учредить типографию и книжную лавку, в которыхь происходимыя Университетских писателей сочинения и переводы печататься и продаваться в пользу общую могут

(ПСЗРИ, 14, 518–519)¹⁴.

Естественно, указ распространялся и на Синод как одно из государственных учреждений, и он принял данный указ к исполнению 12 марта (ПСР, 4, 192–193).

В данной ситуации история с переводом «Опыта о человеке» оказывалась крайне несвоевременной для Шувалова и могла отразиться на всей ранней истории борьбы Московского университета за независимость.

Пасквиль Ломоносова оказывался частью этой истории: он не просто давал выход раздражению поэта, он демонстрировал готовность шуваловской группы перейти к прямой дискредитации оппонентов, в частности епископа Димитрия (Сеченова).

Судя по всему, в Синоде это поняли и перешли к открытым ответным действиям вынужденно и лишь после того, как «в народ» был пущен второй ломоносовский «пашквиль». О том, что эта осторожность была не напрасной, свидетельствует, по всей видимости, дальнейшая судьба Димитрия: в октябре 1757 г. он был назначен архиепископом новгородским (см.: Берков 1936, 213).

¹⁴ Независимость Московского университета будет дополнительно подчеркнута сенатским указом от 22 декабря 1757 г. «О предписании присутственным местам, чтобы они учителей Московского Университета по делам, до них касающимся, требовали чрез сношения с Университетом»; здесь, в частности, цитировалось «доношение» Московского университета о том, чтобы «Профессора и учителя <...> и прочие под Университетскою протекциею состоящие, без ведома и позволения Университетских Кураторов и Директора неповинны были ни перед каким иным судом стать, кроме Университетского», и объявлялось решение Сената: «Всем присутственным местам впредь онаго Университета учителей, без сношения с тем Университетом отнюдь собою по делам касающимся до них не брать, под опасением взыскания за то по указам; и о том в обретающихся в Москве присутственныя места из Сенатской Конторы определить указами» (ПСЗРИ, 14, 827).

В том же 1757 г. решилась и судьба перевода Поповского: московский митрополит Амвросий рассмотрел текст, сделал перемены сомнительных мест (Пекарский 1858; Кочеткова 2004), и книга была напечатана (Поповский 1757; переиздания: Поповский 1763; Поповский 1787; Поповский 1791).

Открытым остается вопрос о литературно-полемическом подтексте «Гимна бороде». На наш взгляд, собранные комментаторами ломоносовского литературного наследия материалы (см. в особенности: Ломоносов АН 2, 8, 1068, 1072–1074, 1077–1081) позволяют предположить, что в этом произведении был задет Тредиаковский. Предположение это в настоящее время не может быть подкреплено твердо установленными фактами, однако косвенные улики все же существуют. Показательна уже сама неколебимая уверенность Ломоносова в том, что именно Тредиаковский выступил под именем Христофора Зубницкого в полемике вокруг «Гимна...» (см. послание Ломоносова «Зубницкому» [Ломоносов АН 2, 8, 630]), могла или должна была базироваться, помимо всего прочего, на убеждении в том, что «Гимн...» его определенным образом задел. И действительно, по крайней мере одно место ломоносовского пасквиля могло восприниматься как прямое указание на Тредиаковского; напомним:

Естли кто не взрачен телом
Или в разуме не зрелом,
Естли в скудости рожден,
Либо чином не почтен, –
Будет взрачен и разсуден,
Знатен чином и не скуден
Для великой бороды:
Таковы ея плоды!

(Ломоносов АН 2, 8, 623).

Как известно, местом в Академии наук Тредиаковский был обязан, в частности, именно «бороде», то есть Синоду, и в этом отношении

его академическая карьера выглядела уникальной (Тредиковский 1851; Пекарский, 2, 106–108; см. также: Живов 1997, 36–37).

Но этот карьерный эпизод, получивший в восприятии современников некоторый специфический оттенок скандальности и надолго запомнившийся в академической и литературной среде, относится к 1745 г. и таким образом слишком далеко отстоит от событий середины 1750-х гг., а поэтому его одного недостаточно для понимания решимости Ломоносова выступить против Третьяковского. Должен был быть другой повод, более близкий по времени и при этом связанный все с той же темой синодального искательства Третьяковского.

Рискнем предположить, что таким поводом стало одобрение Синодом «Псалтири» и «Феофии», отданных Третьяковским на рассмотрение церковным иерархам в 1754 г. и одобренных в 1755-м. Третьяковский лично выразил благодарность Синоду и предложил печатать книги «<...> церковным типом, как по всему духовные» (Третьяковский 1989, 478), фактически заявив о своем стремлении выступить в роли духовного писателя; Синод энергично поддержал это начинание, заявив о намерении освободить автора от издержек на печатание книг и, мало того, передать ему выручку от их продажи (см. об этом подробнее: Шишкин 1989, 528–530).

Это решение Синода, которое современный исследователь справедливо называет «беспрецедентным» (Шишкин 1989, 530), означало, что Синод ищет возможности опереться на союзников в светских литературных кругах и что Третьяковский готов был выступить в этой роли, объективно оказываясь тем самым противником как свободно мыслящих о человеке и мироустройстве Ломоносова и Поповского, так и Шувалова в той борьбе, которую последний вел за ограничение возможностей Синода вмешиваться в дела светской культуры, особенно обострившейся после учреждения университета в Москве; разумеется, в этой ситуации было не столь уж важно, писал Третьяковский вирши Зубницкого, или нет: удар по нему был бы нанесен в любом случае (при этом оценить вероятность того, что Ломоносов сознательно выдвигал на первый план тему Третьяковского, зная, что к Зубницкому он не имеет отношения, не представляется возможным). У Третьяковского же не было сколько-нибудь серьезных ресурсов для противостояния Шувалову и его группе; показательно, что

обе книги его, назначенные Синодом к печати, напечатаны не были, и в них (как бы в порядке симметричного ответа на претензии Синода к переводу «Опыта о человеке») были обнаружены сомнительные в отношении истинной веры места, не смущавшие синодалов, но смутившие ревностно исполнявших свой религиозно-нравственный долг сотрудников московской типографии и, в частности, назначенного Шуваловым ее куратора, М.М. Хераскова (Третьяков 1989, 482–517; Шишкин 1989, 531–535). «Борода» не смогла помочь своему союзнику.

Но нам сейчас важно не это. Весь этот сюжет с ломоносовским «Гимном бороде», если он действительно непосредственно связан с интригой вокруг перевода Поповского (что, повторим, представляется в высшей степени вероятным, но не может быть подтверждено прямыми показаниями источников), то Поповский выдвигается, пусть ненадолго, в центр литературно-общественной жизни и, во всяком случае, приобретает широкую известность, пусть и с оттенком скандальности.

Вернемся к нему.

Поповский (2)

Итак, ученик Ломоносова, пользующийся его поддержкой и покровительством куратора университета, начинает взаимодействовать с литературной группой, якобы враждебной Ломоносову (как полагал Гуковский) и каким-то образом оформляющей эту враждебность в университетском пространстве, контролируемом Шуваловым, иницилирующем издание университетом сочинений Ломоносова.

Всю эту версию мы считаем абсолютно фантастической.

В том числе и потому, что после драматической и опасной борьбы с Синодом, которую пришлось выдержать Шувалову, Ломоносову и Поповскому за возможность издания перевода поэмы Поупа, у Поповского не было ни оснований, ни психологической возможности повести себя подобным образом.

Но если данная версия неверна, придется сформулировать наконец противоположную.

Поповский был принят Херасковым и его окружением и как автор этого перевода, и как ученик Ломоносова, отношение к которому в целом было лояльным (что, разумеется, не исключало несогласий с ним по частным вопросам) и который наряду с Сумароковым включался в единую перспективу истории русской литературы.

Но дело не только в этом.

Именно Поповский оказался учителем нескольких «херасковцев», которых Гуковский зачислил в ряды борцов с Ломоносовым. Учениками его ученика были Богданович, С.Г. Домашнев, Новиков, В.Г. Рубан, Д.И. и П.И. Фонвизины.

Разумеется, степень, характер, глубина влияния Поповского на каждого из них должны обсуждаться отдельно, что, однако, проблематично, поскольку прямых свидетельств на этот счет у нас нет.

Но мы знаем, что никто из них, как минимум, не высказывал каких-либо негативных оценок его деятельности, не ставил под сомнение ни его компетентность как педагога, ни его значение как поэта.

А вместе с тем все они усвоили представление о выдающейся роли Ломоносова в русской культуре.

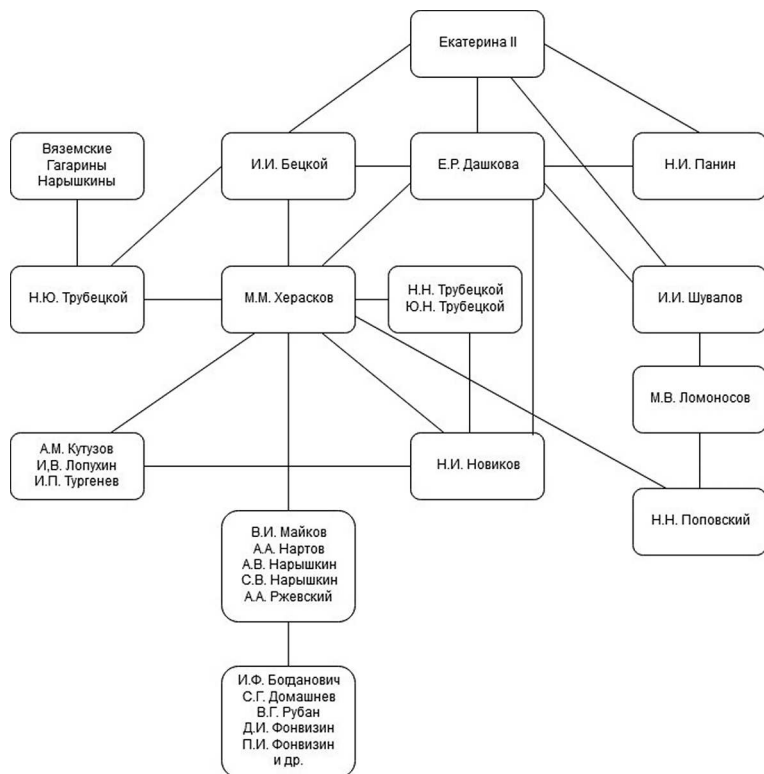
Все это означает, что не только Сумароков, но и Ломоносов оказал пусть косвенное, но несомненное и значительное влияние на формирование представлений «херасковцев» о русской поэзии, о поэтическом стиле и языке; глубина этого влияния еще не исследована, но совершенно не исключено, что оно было сильнее сумароковского.

Вместе с тем появляются некоторые вполне серьезные основания утверждать, что эти «сумароковцы» / «херасковцы» на самом деле оказались замкнуты не на Сумарокова, а на Шувалова, тесно связанного и с Херасковым, и с Ломоносовым, ученик которого Поповский, повторим, успел выступить в роли университетского наставника многих из них.

Если мы правы, то тогда речь должна идти не о победе Сумарокова над Ломоносовым, а, наоборот, о торжестве ломоносовского «направления» над Сумароковым, рассчитывавшим на то, что ему удаст-

ся оформить московскую литературную группу «под себя» и жестоко протравившимся.

В очередной раз достраиваем нашу приблизительную схему:



Итак, теперь общая картина, разумеется в самом первом приближении, выстроена. Не хотим сейчас усложнять ее больше, показывая, например, что Н.Ю. Трубецкой и И.И. Шувалов были связаны с императрицей Елизаветой Петровной, что Панин был воспитателем цесаревича Павла Петровича, будущего императора Павла I, что с ним и с Паниным были связаны отдельные «херасковцы» (прежде всего Д.И. Фонвизин): к этим темам нам предстоит еще вернуться. Сведениями о прямых контактах Ломоносова с Херасковым, которые представляются маловероятными, но не вовсе исключены, не располагаем.

Сейчас же нам необходимо найти в этой картине место для Сумарокова, что непросто, поскольку, как ни странно это прозвучит, все его связи в данном пространстве относятся к разряду социально и институционально необязательных. Обязательны они только в отношении его возможностей как поэта, что совсем не мало, но недостаточно для выхода в первый ряд: здесь остаются представители элиты, обладающие соответствующим статусом, и никто из них не рассматривает Сумарокова ни как равного в социальном плане, ни как незаменимого профессионала, без участия которого рухнет тот или иной культурный проект. Другая возможность подключения к данному контексту, особенно именно московскому и херасковскому – участие в деятельности масонских лож. Рассмотрим все это более подробно.

Сумароков

Семейные связи Сумарокова оказались достаточны для того, чтобы он мог получить образование в привилегированном Шляхетном корпусе. Его отец, Петр Панкратьевич Сумароков (1693–1766), мало привлекал внимание историков; наиболее содержательными трудами, ему посвященными, остаются Панчулидзева 1901, 206 и Берков 1962, 365–366; один из первых опытов систематизации данных о роде Сумароковых: Сумароковы 1870. Согласно распространенной версии, об источнике которой напомнил тот же П.Н. Берков (Берков 1962, 365), П.П. Сумароков был крестник Петра I и, как обычно предполагается, искренний приверженец «петровских преобразований».

О попытках А.П. Сумарокова сделать карьеру, как и о том, в какой мере ему помогали в этом семейные связи, мы почти ничего не знаем. Однако известно, что первоначально ему покровительствовал гр. Х.А. Миних (1683–1767), позднее, по окончании курса учения, Сумароков оказывается в чине поручика адъютантом вице-канцлера гр. М.Г. Головкина (1699–1744), сына гр. Г.И. Головкина (1660–1734), первого канцлера Российской империи и президента Коллегии иностранных дел. М.Г. Головкин, как и Миних, пользовались доверием имп. Анны Иоанновны; Головкин, которого она осыпала милостя-

ми, сын канцлера Г.И. Головкина (1660–1734), успевшего оказать ей важные услуги, был женат на Екатерине Ивановне урожд. Ромодановской, находившейся с императрицей в родстве (о ней: Хмыров 1867); Миних был произведен в генерал-фельдмаршалы и назначен президентом Военной коллегии. При этом Миних и Головкин отнюдь не были единомышленниками и конфликтовали друг с другом; оба они, как известно, подверглись преследованиям, как только на трон взошла Елизавета Петровна. Миних и Головкин оказались в Сибири, откуда первого вернет Петр III и где второй окончит свои дни.

Не знаем, привлекался ли адъютант Головкина к следствию, но известно, что он оказался не в числе пострадавших, а при гр. А.Г. Разумовском в той же должности, что и при Головкине, и дослужился при нем до бригадирского чина; иногда предполагается, что покровительство, оказанное Разумовским Сумарокову, было обусловлено расположением к его отцу, однако какими-либо данными на этот счет мы не располагаем (можем лишь осторожно предположить, что могло сыграть свою роль и знакомство Сумароковых с С.В. Кочубеем, родственником Разумовского [Языков 1885, 446–447]). Во всяком случае очевидно, что определенными возможностями Сумароков-старший располагал, но вряд ли слишком значительными, в круг высшей дворянской аристократии он не входил, а его связи с нею, насколько можно судить, ограничиваются главным образом знакомством с теми, кто был связан с Анной Иоанновной и играл важную роль в период ее царствования.

Мать Сумарокова – Прасковья Ивановна Приклонская (1699–1784) (Воейков 1796, 6); напомним, что род Приклонских, хотя и не был в числе аристократических и наиболее древних (известен с середины XVI в.: Лихачев 1888, 451), был связан со многими дворянскими фамилиями (в том числе Пушкиными [Старк 2000]); отдельные представители рода имели непосредственное отношение к культурной истории России, как например М.В. Приклонский (1728–1794), участвовавший в «Полезном увеселении», позднее директор Московского университета (1771–1784), сменивший на этой должности Хераскова и связанный и с Новиковым, и с Д.И. и П.И. Фонвизинами; последний сменил его на директорской должности (Лонгинов 1867,

117, 194, 227; Фонвизин 1866, 361). В известном справочнике о матери Сумарокова и Приклонских говорится: «По матери С. был в родстве с Приклонскими. Дядя его, Петр Спиридонович Приклонский (1709–1780) принадлежал к группе дворян, активно противодействовавших “верховникам” при воцарении Анны Иоанновны» (Степанов 2010, 184). Какова бы ни была роль Приклонского в этих событиях (переоценивать ее, конечно, нет оснований), упоминание о ней вновь возвращает нас к аннинскому царствованию, когда семейные связи Сумароковых были, насколько можно понять, существенно более значимы, чем позднее. Остается предположить, что именно служба под началом Разумовского позволила Сумарокову установить некоторые контакты при дворе.

Однако уровня этих контактов не хватило даже для того, чтобы избежать столкновений, отражавших социальное неравенство.

Напомним здесь о письме Сумарокова к И.И. Шувалову от 20 мая 1758 г., в котором оскорбленный гр. И.Г. Чернышевым Сумароков пытается обосновать свою правоту, что было тем сложнее сделать, что Шувалов вполне предсказуемым образом оказался на стороне Чернышева:

Не будьте, милостивый государь, на одну минуту другом графу Чернышеву и беспристрастно выслушайте представление мое.

Мне сорок уже лет. Я никогда не думал, чтобы я когда-нибудь, а особливо во дворце, в комнатах того человека, который столько по достоинству его жалуем государынею, сколько мною почитаем и любим, в месте, которое казалось мне убежищем хлопот, и так оно для всех, кроме меня, и есть, буду выбранен такую бранью от человека, которому я ни малейшей причины не только не подал, но ниже подать хотел. Что злые сказать: «Ты вор!». Я не граф, однако дворянин, я не камергер, однако офицер и служу без порока двадцать семь лет. Я говорил: «Пускай это мне кто скажет!» — виноват ли я в том? Кто думал, что это мне кто скажет когда-нибудь потому только, что он больше моего чину и больше меня поступи по своему счастью имеет! Что он меня всем лучше, как он сказывал, я ему в том уступаю, хотя я клянуся, что я этого не думаю

(Письма 1980, 77–78; об этом письме см., в частности: Живов 2002, 617–618).

Здесь обращает на себя внимание не только упоминание Сумарокова о несоответствии чинов, но и том, что он «не граф»: действительно, та ветвь рода Сумароковых, к которой он принадлежал, была нетитулованной; вряд ли можно сомневаться в том, что именно это обстоятельство оказалось решающим в судьбе Сумарокова, не позволив ему возвыситься над «средним дворянством».

Масонство

Масонские связи Сумарокова до конца не исследованы, однако и того немногого, что известно, достаточно, чтобы в первом приближении понять ситуацию.

Известно, что не позднее 1756 г. он уже состоит в ложе; в «реэстр» «Гранметрам и Масонам», поданном Елизавете Петровне руководителем Тайной канцелярии А.И. Шуваловым и составленном М.М. Олсуфьевым (1733–1801), Сумароков назван вторым после гр. Р.И. Воронцова (1707–1783) (Летописи, 4, 51; см. также: Вернадский 1917, 6), сенатора и генерал-аншефа, отца Е.Р. Дашковой; фигурирует в списке и ее муж, кн. М.И. Дашков (1736–1764), и муж ее сестры П.А. Бутурлин (1734–1789). Согласно самому авторитетному справочнику из числа существующих на сегодняшний день, составленному А.И. Серковым, в эту ложу, название которой осталось нам неизвестным, входили также И.И. Шувалов и С.Н. Трубецкой (1731–1812) (Серков 2001, 965), сын Н.Ю. Трубецкого и его первой жены Анастасии Г. Головкиной (около 1700–1734), сестры того самого вице-канцлера М.Г. Головкина, адъютантом которого, как мы напомним выше, состоял при начале своей служебной карьеры Сумароков. В дальнейшем следы его масонской деятельности, если она вообще имела место, теряются; он не фигурирует ни в воспоминаниях Елагина, с которым его одно время связывала совместная борьба с Ломоносовым, ни в показаниях Новикова, издавшим остающееся до сих пор единственным собрание сочинений Сумарокова.

Теперь посмотрим, как обстояло дело с масонством «сумароковцев» / «херасковцев», и для этой цели еще раз воспользуемся справочником А.И. Серкова.

Херасков состоял в открытой в 1762 г. петербургской Великой Английской (Провинциальной) ложе и стал в ней позднее шотландским мастером; кроме него в работах этой ложи, помимо прочих, участвовали Р.И. Воронцов (Великий провинциальный наместный мастер, 1772–1775), И.А. Дмитриевский, Елагин, В.И. Майков, П.И. Мелиссино, А.А. Нартов, Н.И. Новиков, Н.И. Панин, Н.Н. Трубецкой; наместный мастер (1773–1774) и член ложи (1775) Гарпократа, работавшей с 1773 г. по рейхелевской системе; член-основатель капитулярной ложи Латона (открыта в 1775 г. в Петербурге, с 1779 г. в Москве, в 1885 г. шотландская материнская ложа), кроме Хераскова в ней состоят А.М. Кутузов, И.В. и П.В. Лопухины, Новиков, А.А. Ржевский, Н.Н. Трубецкой; оратор (1776).

После смерти Сумарокова к этому и без того внушительному перечню прибавляется почетное членство (1781) петербургской ложи Озириса (учреждена в 1776, с 1781 г. перенесла работы в Москву); кроме того, Херасков – член-основатель «тайной специфической» эклектической ложи Гармонии (1780–1783); в ней также состояли, в частности, С.И. Гамалея, И.В. Лопухин, Новиков, Н.Н. и Ю.Н. Трубецкие, И.П. Тургенев; в 1782 г. он ритор управления теоретической степени внутреннего розенкрейцерского Ордена, в который входит вместе с Гамалеей, Ф.П. Ключаревым, А.М. Кутузовым, И.В. и П.В. Лопухиными, М.И. Невзоровым, Новиковым, А.А. Петровым, А.А. Ржевским, Трубецкими, Тургеневым; в 1782–1783 гг. – член приората и сеньор VIII провинции «строгого наблюдения»; в приорате состоят также Гамалея – второй надзиратель, Лопухин, Новиков – казначей, Н.Н. и Ю.Н. Трубецкие; наконец, Херасков оратор в Провинциальной ложе, учрежденной в 1784 г.; в ней также состоял Н.Н. Трубецкой, одновременно с этим или чуть ранее сделавшийся управляющим мастером университетской ложи Гермеса (возникла не позднее 1784 г. и, конечно, Херасков не мог не быть осведомлен обо всех аспектах ее деятельности, а может быть, и состоял в ней) (Серков 2001, 952, 953, 955, 957, 960, 963).

Эта сводка, свидетельствующая о том, что масонские связи Сумарокова были гораздо менее значительными, чем связи Хераскова и «херасковцев» (что вполне соответствовало различию их социального статуса), указывает и на нечто большее. Сумароков был связан с т.н. ранним масонством, обычно ассоциирующимся с «вольтерьянством»; Херасков и другие достигают высот в масонстве «позднем», мистическом, оформлявшемся еще при жизни Сумарокова, но обретшем заверченный вид уже после его смерти.

В этой связи позволим себе небольшое отступление, касающееся одного произведения Хераскова, которое мы склонны рассматривать как симптом скрытого размежевания его с Сумароковым именно на масонской почве.

В феврале 1760 г. Херасков печатает свою эпистолу «К сатирической музе» (Херасков 1760; Херасков 1961, 103–105), которая, как известно, была тематически ориентирована на IV сатиру Кантемира, основным литературным контекстом которой были сатиры Горация и Буало.

Появление херасковской эпистолы не могло быть делом случайным; на наш взгляд, ближайшим поводом к созданию пьесы стала публикация первой редакции сатиры Сумарокова «Кривой толк», увидевшей свет в сентябре 1759 г. под заглавием «Сатира» (Сумароков 1759; Сумароков 1957, 183–186, 506–509). Опираясь на Кантемира и одновременно полемизируя с ним, Херасков заявляет о том, что позиция Сумарокова, который, как и некогда Кантемир, еще надеется, что слово сатирического обличения может быть услышано и даже повлияет на общественную нравственность, принципиально неадекватна существующей реальности. При этом Херасков, конечно, полностью отдает себе отчет в том, что и у Сумарокова уже заметна скептическая тенденция, обретшая воплощение в концовке его пьесы:

Прерви свой муза глас, престань пустое мыслить!
Удобняе песок на дне морском исчислить,
Как наши дурости подробно перечесть.
Да и на что, когда дается вракам честь?

(Сумароков 1759, 567).

Как видим, здесь сатирической музе предлагается замолчать, потому что ее сил явно недостаточно для того чтобы «перечесать» все заблуждения, пороки, слабости («дурости») человечества. Но последний стих вводит новую мотивацию молчания, оформленную с помощью риторического вопрошания и в силу этого не обязательно претендующую на окончательный приговор: поэт не будет услышан в мире, привыкшем почитать ложь. Именно этот смысл последнего стиха сумароковской сатиры Херасков выдвигает в центр своей пьесы. Обсудив предсказуемые для сатиры темы (неправедные судьи, лицемеры, ростовщики, картежники), в трактовке которых у него, разумеется, нет существенных расхождений с Сумароковым, заявив, что не видит «слабости ни в ком ни маленькой» и что речь идет о мире, обитатели которого уверены в собственной безгрешности и по этой причине «здесь защищают все достоинства свои», он, перед самым финалом, останавливается на пьянстве, признает, что оно имеет место на Парнасе, и, обыгрывая восходящую к Буало концепцию вдохновения, понимаемого как «трезвое пианство», одновременно невзначай задевает известную слабость Сумарокова:

Притом подвержены тому вы, музы, сами;
 Поите вы творцов Кастальскими струями,
 И что восторгом звал ликующий Парнас,
 Так то-то самое есть пьянство здесь у нас.
 Чему же мне велишь, о муза! ты смеяться?
 Коль пьянству? Так за вас мне прежде всех приняться.

После этого следуют два заключительных стиха:

Не лучше ли велишь молчанье мне блюсти?
 У нас пороков нет, ищи в других; прости!

(Херасков 1760, 92).

Итак, сочинение сатир не имеет смысла, поскольку в мире, где всякий «толк» является «кривым», этому *кривому толку* невозможно противопоставить *прямой*: последнему неоткуда взяться; при этом данное общее правило распространяется и на вкушающих кастальские воды

обитателей Парнаса, которые вовсе не являют собой исключение из общего правила.

Но если любые попытки противостоять порочному миру, не знающему или не желающему знать о своей порочности, путем поверхностного его обличения нелепы и заведомо обречены на заслуженный неуспех (обличители ничем не лучше тех, кого они обличают), то единственной возможностью борьбы со злом оказывается внутреннее просвещение, мистика масонского самосовершенствования, обработка «дикого камня» собственной души, требующая признания недостаточности рационального знания и готовности погрузиться в глубины душевной жизни с тем, чтобы в конце длинного пути обрести дух.

Естественно выдвинуть гипотезу о некотором (возможно, не прямолинейном) соответствии масонских биографий Сумарокова и Хераскова их литературным биографиям: Сумароков, не причастный к высокой мистике херасковского («розенкрейцерского») типа, остался с Вольтером и масонским «рационализмом» и далее, насколько известно, не пошел (что, разумеется, совершенно не означает, что он не понимал, что такая возможность у него есть, или резко негативно к ней относился). Тогда выход в свет обсуждавшегося выше переведенного Поповским «Опыта о человеке» и оглушительный его успех может рассматриваться как симптом начавшегося процесса поисков «херасковцами» выхода за пределы «рационализма».

В данной ситуации уже отмечавшийся выше интерес «херасковцев» к ломоносовскому стилю и укрепление Ломоносова в их литературном сознании рядом с Сумароковым или даже над ним должны были обуславливаться именно этим процессом. И чем дальше они отходили от этого «рационализма эпохи просвещения» (никогда, впрочем, не порывая с ним до конца), тем меньше они были готовы ограничиваться сумароковским «буалоизмом». Любопытно отметить, что именно Сумароков в этом смысловом поле оказывался ближе к позиции Екатерины II, ценившей именно просветительский рационализм в варианте Вольтера и «Энциклопедии», и именно с этих позиций дистанцировавшейся от эзотерического масонства. Другое дело, что мы не можем, за неимением достоверных и, кажется, вооб-

ще каких-либо данных, обсуждать существенный вопрос о том, когда именно интересующий нас круг и, в частности именно Сумароков и Херасков впервые соприкоснулись с масонством и вошли в него¹⁵.

Тем очевиднее, что внимание московского круга могло привлечь именно литературное дарование Сумарокова, а не его политическая позиция или успехи в масонской деятельности. Конечно, сочинения Сумарокова были хорошо известны масонам херасковского круга и, независимо от того, занимались ли они сами литературной деятельностью, цитировались или припоминались при случае (ср., напр., письмо А.М. Кутузова к Н.Н. Трубецкому от 1/12 марта 1791 г. где упоминается одна из притч Сумарокова и видно, что автор письма исходит из того, что ее текст хорошо известен адресату [Барсков 1915, 97]); рассматривались ли они при этом как специфический источник «света» – вопрос отдельный, настоятельно требующий исследования; пока же отметим, что нам неизвестны ни свидетельства о том, что они воспринимались как нечто чуждое или ничтожное в духовном смысле (будь это так, Новиков не выступил бы в роли издателя его посмертного собрания сочинений), ни о том, что они рассматривались как культурный резервуар масонской мудрости.

И все же, при всем том, что банальности, касающиеся оценок признанных литературных дарований, не всегда бывают излишними или неверными, они совершенно недостаточны в тех случаях, когда речь идет об описании историко-литературного процесса, вбирающего литературные репутации только как один, но не единственный фактор. С учетом этого обстоятельства нам придется, пусть и самым предварительным образом, заявить, что наряду с влиянием чисто литературным, которое никем не отрицается, но и не изучается специально, важным фактором литературного процесса 1760–1770-х гг. стала, в частности, именно социально обусловленная неспособность

¹⁵ Любопытно, что А.В. Западов, обсуждая содержание херасковского «Полезного увеселения», счел нужным подчеркнуть, что «отсутствие данных о наличии в Москве конца 1750-х – начала 1760-х гг. масонских лож вовсе не значит, что их там не было» (Западов 1984, 181). Другое дело, что тут же выдвинутая версия, согласно которой нападки неизвестного «клеветника» или «клеветников», неоднократно обсуждавшихся в «Полезном увеселении», на Хераскова и его круг, были обусловлены именно масонскими интересами последних, ни на чем не основана.

Сумарокова включиться в литературную и политическую борьбу таким образом, чтобы сыграть в ней ключевую в том или ином отношении роль, на что он, по крайней мере в отношении борьбы литературной, безусловно претендовал.

Однако именно литературно-общественная позиция Сумарокова в какой-то момент могла или даже должна была быть воспринята Херасковым и его кругом не просто как странная или экзотическая, но и как принципиально несовместимая с их собственным пониманием происходящего.

Сумароков, Ломоносов, Тредиаковский

В самом деле, если действительно, как было сказано выше, во время и после скандала с «Опытом о человеке» и «Гимном бороде», Тредиаковский воспринимался Ломоносовым (следовательно, и Шуваловым) как один из тех, кто способствовал этому скандалу или даже в каком-то смысле инспирировал его (сомневаться же в том, что роль Тредиаковского виделась именно в таком свете, нет никаких оснований), а Херасков последовательно и в полной мере успешно саботировал издание «Псалтири» и «Феофии» Тредиаковского, то тогда попытка Сумарокова примириться с ним, врагом уже не только Ломоносова, но и Поповского, Шувалова, университета, в кругу «херасковцев» с необходимостью была расценена как абсолютно неприемлемая.

Переломным моментом стала, конечно, публикация Сумароковым в «Трудолюбивой Пчеле» статьи Тредиаковского «О мозаике» (Тредиаковский 1759), задевавшей Ломоносова, который, как известно, немедленно откликнулся на эту публикацию резким стихотворным памфлетом, который заканчивался следующим образом: «Здружись с сей парочкой: кто хочет с ними знат<ь>ся, / Тот думай, каково в крапиву испражнят<ь>ся» (Ломоносов АН 2, 8, 660, комментарий 1097–1099; автограф не сохранился).

В ситуации, когда вся история с переводом Поупа была еще свежа в памяти ее участников, Хераскову и его кружку ничего не оставалось, как дистанцироваться от Сумарокова, полагавшего, что в борьбе с Ломоносовым все средства хороши: к тому же последний не просто осудил беспринципность Сумарокова, он еще, прекрасно понимая, в частности, ситуацию в Москве, намертво связал его с Тредиаковским, заявив, что отныне они образовали «парочку», и элегантно предупредил тех, кто хотел бы «знаться» если не со вторым, то с первым, о безрассудстве и столь умеренного желания.

После этого нас уже не может удивлять ни почти полное отсутствие Сумарокова в «Полезном увеселении», ни отсутствие в последнем каких бы то ни было заявлений о союзнических отношениях с Сумароковым, ни демонстративное нежелание издателя придерживаться заявленной Сумароковым антиломоносовской линии, ни приглашение в журнал ученика Ломоносова Поповского, ни, быть может, даже многократно отмечавшаяся приверженность херасковского журнала теме «клеветы» (ср. в т.ч.: Берков 1952, 132; Берков 1977, 57; Западов 1984, 181–182; Кочеткова 2010, 347), связанной с неизвестными нам обстоятельствами тогдашней литературной борьбы, но находившей почву и в недавних памятных событиях вокруг Поповского, ассоциировавшихся, в частности, именно с Тредиаковским.

Отношения «херасковцев» с Сумароковым в данном контексте приобретали дополнительное значение. Они не стремились к явному разрыву с ним, но у них появились дополнительные основания для того чтобы определиться на собственной (в чем-то и ломоносовской) почве, что, естественно, не исключало ни осторожного дистанцирования от него в публичной сфере, ни завуалированной игры с его литературно-общественной репутацией.

«Ненавистник» и «Самолюбивый стихотворец»

Действительно, полемики Хераскова с Сумарокова нам неизвестны, и в настоящее время мы не можем судить о том, имели ли они вообще место. Ясно только, что не было открытой полемики – во всяком случае, имеющиеся в нашем распоряжении свидетельства ничего подобного в себе не содержат.

Полемики же скрытые, предназначенные для посвященных, мы вряд ли в состоянии уверенно выявить: слишком много «ключей» к херасковским произведениям утрачено и, видимо, навсегда. Это относится, например, к текстам, опубликованным в «Полезном увеселении»: в подавляющем большинстве случаев мы не располагаем данными, нужными для того чтобы прочесть их в контексте времени их создания. Но и с нашим пониманием других произведений Хераскова дело обстоит не лучше: едва ли не во всех случаях мы вынуждены ограничиваться гипотезами или даже догадками, опирающимися только на сопоставления текстов, всегда ненадежные, поскольку, не имея «ключа», мы далеко не всегда можем уверенно установить функции цитат, реминисценций, аллюзий.

В данной работе мы рассмотрим только один случай подобного рода: речь пойдет о комедии Хераскова «Ненавистник» (1770, поставлена на сцене в 1779 г.).

Она была уже соотнесена с произведениями Сумарокова: П.Н. Берков обратил внимание на то, что обсуждение вопроса о сатире в «Ненавистнике» ведется подчас в «формулировках, близких» к сумароковским (Берков 1977, 104), что вполне соответствует распространенным представлениям о зависимости Хераскова-комедиографа от сумароковских комедий (Лебедева 2014, 248, 249; впрочем, здесь же справедливо указывается на особую роль Хераскова в истории русской комедии: как выяснилось, он не только следовал за Сумароковым, но и «поразительным» образом «прозревал» «пути развития русской высокой комедии» [Лебедева 2014, 252–253]). Позднее А.А. Гозенпуд указал, что Херасков перефразировал в «Ненавистни-

ке» реплику героя комедии Сумарокова «Димитрий Самозванец», завершенной в начале 1770 г. («Злодейская душа спокойна быть не может» [Сумароков 1771, 4], ср.: «Теперь покоилась моя душа во мне» [Херасков 1787, 62], см.: Стихотворная комедия 1990, 1, 675); данное наблюдение было недавно поддержано указанием на еще один текст из «Ненавистника» («Ни в ком я не видал души такой злодейской» [Херасков 1787, 115], см.: Лебедева 2014, 267).

Эти цитаты из Сумарокова (вряд ли случайные) должны быть осмыслены в контексте давно заявленной версии о последовательной борьбе Хераскова-драматурга с Сумароковым, начиная с «Венецианской монахини» и заканчивая «Освобожденной Москвой»¹⁶: либо эта версия не верна (а мы для такого утверждения не видим серьезных оснований), либо она должна быть определенным образом скорректирована (в этом случае нам придется заявить, что Херасков, противопоставляя системе Сумарокова свою драматургическую систему, следовал за ним в мелочах), либо же, наконец, необходимо признать цитаты из Сумарокова двусмысленными: актуализируя сумароков-

¹⁶ Ср.: «“Венецианская монахиня” названа трагедией, и формально она отвечает требованиям, предъявленным к этому жанру Сумароковым в «Епистоле о стихотворстве»; в ней выражены единства времени, места, действия. Но самый выбор героев – простых смертных, мрачный колорит пьесы, романтический «полночный час», в который происходит действие, – были новыми. Сокращение числа актов – три вместо традиционных пяти – представляло также отступление, которое Херасков считал нужным объяснить и оправдать в предисловии. <...> Непосредственно политическая проблематика, характерная для Сумарокова, в трагедиях Хераскова оттеснена религиозными и моральными проблемами. В одном лишь случае он приближается к Сумарокову и то в порядке полемики. Трагедия «Борислав», написанная в 1772 г. (поставлена в 1774 г.), вскоре после появления шумевшего «Димитрия Самозванца», одного из наиболее сильных тираноборческих произведений Сумарокова, развивает противоположную концепцию; в ней тирания осуждена, но восстание осуждено еще более. Двойственная позиция, намечавшаяся в «Венецианской монахине», окончательно определяется в деятельности Хераскова 70-х годов. Работая над «Россиадой» <...>, он в то же время пишет в 1774 г. пьесу «Друг несчастных», которую демонстративно называет «слезной драммой». Вопреки утверждениям Сумарокова, Херасков считает правомерным существование этого нового жанра и пытается приспособить его к идейным запросам русской дворянской интеллигенции. <...> Для полноты характеристики Хераскова-драматурга необходимо отметить его попытку выступить в роли реформатора сцены. «Освобожденная Москва» (1798) была следующим за «Рославом» Княжнина этапом на пути создания патриотической трагедии. <...> Традиционная любовная интрига <...> механически прикреплена к основной теме защиты Москвы, и классическое единство действия в том смысле слова, как его понимал Сумароков, нарушено; не соблюдено и единство места» (Кулакова 1947, 325–327).

ский контекст, они (все, или по крайней мере некоторые из них) в то же время подчеркивают особую позицию Хераскова.

Между тем цитатами, замеченными нашими предшественниками, дело вовсе не ограничивается. Так, в «Ненавистнике» читаем:

Змея
(со стремлением)

Погибельные вести!
Возможно ли в наш век хранить законы чести?
Зарос обманами, в пороках тонет свет.
Пресущей тот дурак, кто правдою живет

(Херасков 1787, 46).

Ср. в сатире Сумарокова «Кривой толк»: «Пороки, кои в нас, вмеем в добродетель»; «Обманщик думает: “То глупый человек, / Который никого не обманул вовек”»; «Ищи тут правды, где не думано о ней»; «Удобнее песок на дне морском исчислить, / Как наши дурости подробно перечеть... / Да и на что, когда дается вракам честь?» (Сумароков, 7, 352, 354, 355); в сатире «Пиит и друг его»: «Пускай плуты попрут и правду и законы»; «А логики у нас и имя редким вестно; / Так трудно доказать, бесчестно что иль честно»; «Против пороков я писать не перестану» (Сумароков, 7, 351).

Опираясь на сумароковские тексты, Херасков «переключает» их из «высокого» контекста в специфически «низкий», «передоверяя» их отрицательному персонажу, главному источнику зла, обсуждаемого в комедии.

Этот прием позволял Хераскову, сохраняя внешнюю лояльность к Сумарокову, неявным образом вести игру (которая могла быть внятной лишь для сравнительно небольшого круга «посвященных») на уровне аллюзий и биографических «применений». Если наше предположение справедливо, то тогда к обсуждаемому нами приему Херасков должен был прибегать и в других случаях: его единичное использование недостаточно для организации различного пространства занимающей нас двойственности. И это действительно так: комедия Хераскова насыщена сумароковским материалом (при

том, подчеркнем, что Херасков ни разу не переходит установленную им границу и не атакует Сумарокова открыто). Приведем еще примеры, не стремясь исчерпать вопрос.

В «Ненавистнике» тот же злодей Змеяд заявляет: «Не золотые дни у нас текут, железны!» (Херасков 1787, 49). Ср. в стихотворении Сумарокова «О люблении добродетели»:

О люты человеки!
Преобратили вы златые веки
В железны времена
И жизни легкости в несносны бремена

(Сумароков, 1, 231).

И вновь тот же эффект: сумароковская «высокая» ламентация «передается» «низкому» герою *комедии* и тем самым «обесценивается»; при этом выясняется с очевидностью, что сама по себе она ничего не значит: важно, кто ее произносит.

Еще пример. В «Ненавистнике» Змеяд рассуждает:

И люди всё не то и всё превратно видят,
Не смыслят отличить от шапки головы

(Херасков 1787, 47).

Ср. в другом месте вариацию на ту же тему: «Как шляпы, нонича у всех людей умы» (Херасков 1787, 64). Здесь прозрачная отсылка к сумароковским хорам «ко превратному свету» сочетается с цитатой из «Письма о некоторой заразительной болезни»:

Что подъячий пив водку повис на зубцах Алексеевской башни, сия История в Москве, не только старым бабам, но и малым ребятам известна. Сняли и взяли чортова наперстника под караул, отвели на съезжую, отослали в приказ, и посадили на цепь. Проспавшись хватился подъячий шапки, которую сняв он на башне при чарке водки чорту кланялся, и как скоро он сорвался с цепи, пошел за шапкою. О ежели бы он позабыл там свою подъяческую голову, или бы на зубцах повешен остался!

(Сумароков, 6, 377; впервые: Сумароков 1759а).

Продолжим. Вновь Змеяд изъясняется слогом Сумарокова:

Конечно, просвещать не всякого годится,
Иной к сохе у нас, иной к чинам родится

(Херасков 1787, 58).

У Сумарокова в «притче» «Осел во Львовой коже»: «Из сама подла рода, / Которого пахать произвела природа» (Сумароков, 7, 69); ср. в «Эпистоле Е. И. В. Государю Великому Князю Павлу Петровичу в день рождения его 1761 года сентября 20 числа»: «Крестьянин, сея хлеб, трудится и не дремлет, / К тому родился он и гласу долга внемлет» (Сумароков, 1, 323).

Вернемся теперь к «Димитрию Самозванцу», которого, как мы видели, соотнес с «Ненавистником» еще А.А. Гозенпуд. Змеяд:

Которы мыслят так, те подлы, те бесчестны,
Враги отечества, обманщики, льстецы
И сущие они невежи и глупцы.

<...>

Изменник! мне ты враг!

(Херасков 1787, 61).

В сумароковской трагедии находим: «Москвы, России враг и подданных мучитель», «Злодей, ты – враг, ты – враг и нам и всей стране!»; «Враг общества еще вам хочет говорить»; «Я враг природы всей, отечества предатель»; «И человечества я враг, и божества»; (Сумароков 1771, 11, 30, 35, 56, 68).

Это едва ли не важнейшая характеристика Самозванца во всей трагедии: так говорят о нем, и так он сам говорит о себе. Змеяд (предлагаем оценить комический эффект, опять-таки ориентированный на немногих) меняет адресацию реплик сумароковского злодея: злодей херасковский говорит не о себе, а о своих врагах, при том что зрителям / читателям комедии предлагается именно его, естественно, считать врагом общества.

Напрашивающийся вопрос о том, был ли этот второй и «необязательный» (ясно, что «Ненавистник» – это не комедия на Сумаро-

кова, Херасков лишь «подсвечивает» своего Змеяда сумароковским материалом) смысл внятен кому бы то ни было, останется, в общем, без ответа: никакими прямыми свидетельствами на сей счет мы не располагаем.

Однако вместе с тем (и, отчасти, по только что указанной причине) мы не считаем себя обязанными признать случайной отмечавшуюся связь между «Ненавистником» и комедией Николева «Самолюбивый стихотворец» (1775, первая постановка 1781 г.), в которой, так же как и у Хераскова, обыгрываются некоторые стихи «Дмитрия Самозванца» (Лебедева 2014, 267). «Самолюбивый стихотворец», в отличие от «Ненавистника», – комедия на Сумарокова, и тем более важно, что у нее есть и другие точки пересечения с херасковской, с которой Николев вполне мог познакомиться до завершения своей работы¹⁷.

Более того, Надмен, герой комедии Николева, обладает поразительным сходством со Змеядом (если оставить в стороне все то, что обусловлено родом занятий и соответствующими способами взаимодействия с социумом): они оба уверены в своей исключительности и при этом убеждены в том, что их окружают ничтожества, принципиально неспособные оценить их дарования, и что это неслучайно, поскольку все общество, к которому они принадлежат, повреждено интеллектуально, эстетически, нравственно; оба демонстрируют презрение к тем, с кем вынуждены взаимодействовать; оба легко выйдут из себя, обнаруживая недюжинную склонность к грубой брани и используя при этом одну и ту же лексику, подчеркивающую сходство темпераментов, манер и мировоззрений.

Ограничимся двумя примерами, достаточно выразительными.

Скот, скотина: «По мненью моему, ханжа, дурак, скотина»; «Я! я один ко всем правлениям удобен. / Писать, выдумывать, судить, решить способен. / Другие сущие передо мной скоты, / Скажи, согласен

¹⁷ Сведений, подтверждающих данное предположение, у нас нет. Можем лишь отметить, что на рубеже 1770–1780-х гг. отношения Николева и Хераскова были вполне нормальными, если не взаимно доброжелательными (во всяком случае, в предисловии к комической опере «Розана и Любим» (1781) Николев уподоблял Хераскова Гомеру и Вергилию [отмечено: Кочеткова 2010, 352]); точное время работы Николева над текстом «Самолюбивого стихотворца», впрочем, неизвестно; 1775 г. как время создания пьесы указан им самим; существует версия и о более позднем завершении работы над ним (Альтшуллер 2014, 267).

ли со мною в этом ты?»; «Я, право, думаю, что здесь живут скоты,/ Поверите ли мне, что вас никто не хвалит»; Стовид, чтобы удержать Змеяда от расправы, прибегает к его логике: «Смеяться будут люди,/ Что ты скота убил!»; «Скажи ты мне, скотина,/ Какая бы тебя понудила причина / Пасквиль такой писать?»; «Невежи и скоты одни меня поносят» (Херасков 1787, 52, 60, 63, 71, 107); ср. у Николева: «Ненастье... дождь... К тому ж, я рассердился так / На этого скота... на это гнусно племя»; «О скотские умы!.. Гнуснейшие сердца! / Дождусь ли я, чтоб вы исчезли до конца»; «Тебя произвела сама, конечно, глупость. / Ты даже быть сравнен не стоишь и с скотом»; «И он еще меня Монсьиором называет / И Рус<с>кие слова с Французскими свивает, / Как будто бы и я такой же скот как он?»; «В Париже-то и стал еще к скотам ты ближе. / В тебе была душа: теперь лишь только пар»; «В Перовских рощах?.. так! тебе и место там. / Не в городе – в лесу убежище скотам»; Модстрих возвращает Надмену его словечко: «По вкусу моему!.. Он суцая скотина» (Николев 1787, 27, 28, 30–32, 116).

Дурак: «Игра с ребятками знакомит стариков,/ Купца с боярином, с разумным дураков»; «Пресущей тот дурак, кто правдою живет»; «Так разве честному в покое можно жить, / Когда врагов моих повсюду величают? / <..> / Когда со мной равно считают дураков?»; (в ранней редакции: «Вреда, конечно, нет, когда ты слово скажешь, / Которым дурака как пальцами укажешь»; «Послушай, где хвалить начнут когда Премида, / Скажи, что он дурак!»; «Весь город говорит, что Добров не дурак, / <...> / По мнению моему, ханжа, дурак, скотина»; «Все, право, станется от наших дураков» (Херасков 1787, 40, 46–49, 52, 67); ср. у Николева: «Я груб, а ты дурак, еще скажу раз двести, / Когда ты с тем пришел, чтобы меня взбесить»; «Прокладывать другим к дурачеству следы! / <...> / И для чего? чтоб быть в бессмертных дураках, / Всю глупость помести в печатанных строках! / Да полно, вить они того не ощущают, / Что тем-то в дураки себя и посвящают»; «Но что и говорить! развратны времена! / Всем воля дуракам стихами врать дана»; «Что ты пристал к безумцам... дуракам, / Противно мне... весьма противно, не скрываю»; «И что несноснее того на свете есть, / Как видеть дурака... надутого собою»; «Врать любят лишь одни бес-

смертны дураки, / Которых, ко стыду, здесь много завелось. / <...> / А эдаких, как я, еще не родилося» (Николев 1787, 31, 82, 87, 139, 148).

Брань, как уже сказано, подкрепляется морализаторством: Змеяд и Надмен обличают пороки. У Хераскова: «Зарос обманами, в пороках тонет свет»; «Не золотые дни у нас текут, железны! / Пороки видимы здесь в пущем торжестве»; «Пропасть за то, что я порокам не польщу?» (Херасков 1787, 46, 49, 50); у Николева: «За что ж? За то, что он, не ради вечной славы, / Но ради гнусной мзды, забывши честны нравы / И долг писателя, который и Царя / Не должен восхвалять, в Царе пороки зря»; «О нравы! наконец могу ли вас исправить, / Могу ли к истине умишко ваш наставить, / Чтоб вы призналися, что только лишь Надмен / Пороков и страстей есть правильный безмен!»; «Все холят слабости, пороки все лелеют / И, пользу погубя, о пользе не жалуют...» (Николев 1787, 34, 62).

На этом фоне вряд ли может быть признан случайным звуковой повтор (с перестановкой) в именах персонажей: [змеяд] и [надмен].

Итак, у нас появляются некоторые основания предполагать, что Николев, опираясь на текст комедии Хераскова, который, повторим, антисумароковскую подсветку вводил в свой текст умеренно и при этом решал другую задачу (его Змеяд, конечно, не Сумароков), и, создавая в «Самолюбивом стихотворце» именно памфлет на Сумарокова, одновременно как бы прояснял дополнительный смысл «Ненавистника». Однако при этом не только Херасков, но и Николев отдают свои комедии для постановки на сцене и напечатания только по прошествии значительного времени после смерти Сумарокова и, конечно, не рассматривают их как окончательный приговор его памяти. Обыгрывая забавные и отталкивающие особенности его личности и социального поведения, они прекрасно понимают, что к этим особенностям ни то, ни другое не сводится, не говоря уже о его высокой одаренности как поэта, – и по этой причине и до, и после создания своих комедий в других жанрах, но уже прямо называя Сумарокова, выражают свое видение его заслуг перед русской литературой; напомним вместе с тем, что оба они, не только Херасков, но и Николев, в целом комплиментарно-апологетически относятся к Ломоносову и его литературному наследию [ср.: Николев, 3, 161–177 и др.]).

Сумароков, Херасков, «херасковцы» и Н.И. Панин

До сих пор мы обходили ту часть нарисованной Гуковским картины истории «сумароковцев» / «херасковцев», которая касается графа Н.И. Панина, главы политической партии на которую, по мнению исследователя, были замкнуты «сумароковцы». Данная версия не кажется нам обоснованной: как известно, ближайшим сотрудником Панина оказался не Сумароков, а Фонвизин, служивший при Панине в должности его секретаря и сделавшийся, по общему мнению биографов, его доверенным лицом. О других «херасковцах» мы ничего подобного не знаем.

Что же касается до самого М.М. Хераскова, то приходится признать, что он никак не мог связывать с Паниным какие-либо общественно-политические планы уже по той причине, что Панин был врагом как его приемного отца, Н.Ю. Трубецкого, так и И.И. Шувалова, создателя и первого куратора Московского университета, которому Херасков был многим обязан, отправленных в отставку, судя по косвенным данным, не без непосредственного участия Панина.

О том, что в наших словах нет никакого преувеличения, свидетельствует общедоступный текст написанного Паниным в декабре 1762 г. доклада императрице о проекте «устава верховного правительства» (Панин 1871), недавно перепечатанный по рукописи (Бугров 2015, 226–247), из которого следует, что Панин занимался прямой и жесткой дискредитацией Трубецкого, ср.:

Согласиться можно, что Ягужинский распространял гораздо далее свое звание <генерал-прокуроров>; но то надлежит заметить, что первый был в то время ближайший советник того государя, который тогда сам империю и правительство устанавливал, а из каких людей и какими средствами – о том известно. <...> Взяв эпох царствования императрицы Елисаветы Петровны – князь Трубецкой тогда первую часть времени своего прокурорства производил по дворцовому фаверу, как случайный человек, следовательно не законы и порядок наблюдал, но все мог, все делал и, если осмелиться сказать, все прихотливо развращал, а потом сам стал быть угодником фаворитов и припадочных людей.

Сей эпох заслуживает особое примечание: в нем все было жертвовано настоящему времени, хотениям припадочных людей <...>. Ея величество вспамятовала, что у ея отца-государя был домашний Кабинет, из которого, кроме партикулярных приказаний <...>, ничего не выходило, приказала и у себя такой же учредить. Тогдашние случайные и припадочные люди воспользовались сим домашним местом для своих прихотей и собственных видов и поставили средством оною всегда заключительный общему благу интервал между государя и правительства. Они, временщики и куртизаны, сделали в нем, яко в безгласном и никакого образа государственного неимеющем месте, гнездо всем своим прихотям, чем оно претворилось в самый вредный источник не токмо государству, но и самому государю. <...> В таком положении государство оставалось подлинно без общего государственного попечения с течением только обыкновенных дел по одним указам всякого сорта. Государь был отделен от правительства

(Панин 1871, 204–206; ср.: Бугров 2015, 230; опыт комментария к данному фрагменту: Шереметевский 1901, 152).

Как видим, Ягужинский здесь извинен обстоятельствами петровского правления (при том, что он был генерал-прокурором не только при Петре, но и сильно после него), для «все развращавшего» Трубецкого оправданий не нашлось. Имя Шувалова Панин не упоминает, но совершенно ясно, что все, сказанное им о «случайных» (то есть попавших в случай, выдвинувшихся необычным образом) и «припадочных» (припадок – зд. случай, ср. польск. *przypadek*) «временщиках и куртизанах» в первую очередь относится именно к нему, имевшему очень большое, если по многим вопросам не решающее, влияние на императрицу Елизавету, причем именно «домашним» образом, и пользовался исключительным правом доклада императрице, (яркую характеристику личных и политических отношений Шувалова и Панина см.: Соловьев, 5, 25, 1320–1322). Вражда Панина к Трубецкому была тем более непримиримой, что Панин был тесно связан с канцлером Бестужевым, смертельным врагом Трубецкого (об этом см. хотя бы: Шереметевский 1901, 151, 156).

Отношения Трубецкого с Шуваловыми были непростыми, но, конечно, не антагонистическими; еще при жизни Елизаветы Петровны Трубецкой сыграл роль посредника между ними и великой княгиней

Екатериной Алексеевной (Васильчиков, 1, 200; Шереметевский 1901, 156). Вряд ли можно сомневаться в том, что именно по просьбе Трубецкого Шувалов ввел его приемного сына в круг вершителей дел Московского университета, оказавшись в котором Херасков сделал быструю карьеру. Напомним, в июне 1756 г., через несколько месяцев после приезда в Москву и начала службы в университете: коллежский ассессор; в июле 1756 новоучрежденная университетская библиотека поступает в ведение Хераскова, как и устроенный около этого времени театр; в феврале 1757 г. он член Университетской конференции; попечитель Университетской типографии; в апреле 1757 получает попечение над Синодальной типографией; с января 1759 г. – над Минералогическим кабинетом; с 1761 г. Херасков надворный советник; исполняющий обязанности директора университета во время отпуска И.И. Мелиссино; с ноября 1762 г. цензор университетских изданий; с июля 1763 г. – директор университета (Кочеткова 2010, 345, 248). В череде этих событий ключевые – установление контроля над двумя типографиями, то есть фактически надо всем тогдашним московским книгопечатанием. Ясно, что в такого рода сюжете Шувалов и Мелиссино могли и захотели бы использовать только того, кому доверяли и считали в каком-то смысле своим. Между тем ситуация в университете была непростой, «трудности роста» усугублялись внутренней борьбой, отражавшей как непростые личные и профессиональные отношения, так и разные аспекты политики руководства. Поэтому, как только Шувалов, формально сохранив за собой должность куратора университета, отправился за границу (апрель 1763 г.), а Трубецкой, потеряв остатки своего влияния, в отставку (июнь 1763 г.), Херасков оказался в сложном положении: ему нужно было искать покровителя при дворе, и этим покровителем не мог быть Панин, и не только в силу его враждебности и к Трубецкому, и к Шувалову.

Даже если бы Херасков проявил беспринципность (и тем самым сразу и навсегда уничтожил бы свою социальную репутацию), включение Московского университета в орбиту влияния Панина вероятно осложнило бы все систему отношений новой императрицы с Шуваловым, которому были даны определенные гарантии (и с ко-

торым Херасков навсегда сохранил отношения взаимопонимания и доверенности; любопытно, что последний известный нам случай ходайтства Шувалова за Хераскова относится к 1796 г. [Шувалов 1861, 353]).

Следовательно, единственной придворной партией, в пространстве влияния которой бы мог найти свое место Херасков, была партия гр. Г.Г. Орлова, где он и оказывается (ср.: Кочеткова 2010, 349). Ряд выразительных, хотя и косвенных, свидетельств этой партийной принадлежности Хераскова доставляет его литературное творчество. Ограничимся несколькими примерами, отнюдь не исчерпывающими тему. В оде, созданной в сложном для Хераскова 1763 г., уже содержатся прозрачные двусмысленности, связанные с геральдическим орлом:

Покойся Марс Российский ныне,
 Под тенью мира отдыхай,
 И песни ко ЕКАТЕРИНЕ
 В безбранной тишине внимай,
 Доколь с военною трубою
 Орлы Российски пред тобою
 К сражению не полетят.
 Подобны лишь себе в Геройстве,
 Они во брани и в спокойстве,
 Безмерной храбростью горят

(Херасков 1763, <5>).

Ср. в оде 1767 г., где вполне различимо предчувствие новой турецкой войны, которая разразится через год и уже многими обсуждается как возможное событие, фактически включенное в политическую повестку дня:

Твои, Россия, здесь пределы,
 И слава о тебе гремит,
 Хоть новья ты видишь селы,
 Их Волга древняя поит.
 Она той славы не забыла,
 Которая по ней трубила,
 Когда восточный край горел,

И чрез Каспийски волны яры,
Тушить Персидские пожары
Российский прелетал орел

(Херасков 1767, <6>).

Ср. в оде 1770 г.:

И се орлы Россиски <так!> вскоре
Как стрелы чрез пространно море,
Чрез горы и леса парят;
<...>
Простерли взор на рок ужасный:
Герой младый, герой прекрасный
Подвержен злой судьбине там:
Се Нимфы море прелетают
Его в объятия хватают,
Несут безвредна по волнам;
Тритоны легкими крылами
Героя нашего покрыв,
С мечем летящу за врагами
Гласят другому: брат твой жив.
Сей глас всему был понту внятен
И самым Небесам приятен.
Колико радостных тут слез?
Колико предприятий новых
Для храбрых встретилось Орловых,
Благоволением Небес?
<...>
Спасать врагов, кончать их бедства,
Летят Орловы ко брегам.
Победы нужны, не свирепства,
Геройским истинным душам

(Херасков 1770, <3, 5, 6>).

В 1771 г. Херасков посвящает Г.Г. Орлову поэму «Чесмесский бой», перенасыщенную как геральдическими применениями, так и прямо называемыми именами Орловых (Херасков 1771), – настолько, что после воцарения Павла I, ненавидевшего Орловых, Херасков попытался отредактировать свое произведение в направлении умень-

шения веса орловской темы (Херасков 1961, 383–384 [комментарий А.В. Западова]). На наш взгляд, это выразительный симптом значимости совершенного ранее выбора; вместе с тем совершенно понятно, что в 1771 г. в кругу великого князя Павла Петровича и Панина, которым приходилось мириться с существованием Орловых и взаимодействовать с ними в соответствии с требованиями придворного этикета и придворной дипломатии, такого рода тексты не могли восприниматься с энтузиазмом.

Конечно, неписанные правила поведения при дворе отнюдь не накладывали запрет на некоторые виды взаимодействия членов разных партий друг с другом: союзам явным аккомпанировали союзы тайные, заговорам – предательства, разоблачениям одних злодеев – пресмыкательство перед другими и т.д. И все же это не значит, что нравственная неразборчивость, которой как будто требовала постоянная яростная и обычно безжалостная политическая борьба при дворе, была, так сказать, беспредельна. Сделанный политический выбор ко многому обязывал; более того, определенные представления о порядочности существовали и при дворе. Вспомним, например, что первому биографу Фонвизина, кн. П.А. Вяземскому, пришлось обсуждать те упреки, которым подвергся Фонвизин, единственный «сумароковец», которого Панин приблизил к себе и которому в полной мере доверял, за совершенный им решительный переход от Панина, которому он был обязан всем, к Потемкину, перед которым он, якобы, передразнивал своего благодетеля (Вяземский 1848, 111–113).

Менее ярко, но вполне прагматично вел себя Сумароков. Судя по напечатанной части его переписки, он последовательно соизмерял свои придворные отношения с изменяющейся ситуацией: сначала идут письма к И.И. Шувалову 1757–1761 гг., затем – блок писем к Екатерине II 1762–1768 гг., затем письма к В.Г. и Г.Г. Орловым 1768–1769 гг., вновь Екатерине II 1769–1774 гг. и, наконец, письма к Потемкину (Письма 1980, 68–181). Конечно, мы не знаем, насколько представительна эта подборка, но нет у нас и данных о том, что она неадекватно отражает социальную стратегию Сумарокова (или, в каких-то случаях, его корреспондентов). Но если «традиционное» представление об ориентации Сумарокова на Панина и его «партию»

справедливо, то придется признать и то, что поддерживая союзнические отношения с Паниным. Сумароков отнюдь не чуждался ни взаимодействия с Орловыми, ни с Потемкиным (об отношениях Сумарокова с последним см. Глинка 1841, 1, 127–128) и при этом (тогда, когда это было возможно) предпочитал прямую апелляцию к Екатерине II, будучи совершенно уверен в том, что его литературные занятия есть дело первостепенной государственной важности. Это почти уникальная позиция в истории русской литературы, кажется исключаящая слишком прямолинейную постановку вопроса о его партийности.

Существовало и обстоятельство, которое должно было накладывать некоторый дополнительный ответ на его отношения с Херасковым – и здесь мы вновь должны вспомнить о приемном отце последнего: именно кн. Н.Ю. Трубецкой был основным преследователем графа М.Г. Головкина, который, как мы уже упоминали выше, покровительствовал Сумарокову на раннем этапе его служебной карьеры¹⁸.

Социальное поведение Хераскова выглядит совершенно иначе. Он тоже прагматик, знающий, что такое борьба мнений и партий, и при этом деятельный чиновник, от которого в отдельные периоды его жизни зависела судьба Московского университета, и при этом поэт, обретающий подлинную мотивацию творчества не только и даже не столько в официальной сфере, с которой он постоянно взаимодействовал, сколько в масонской (розенкрейцерской) среде с ее специфическим взглядом на жизнь, личность, власть, поэзию, исключаящим прагматизм как *универсальный* механизм взаимодействия с ними. При этом Херасков, сближаясь с партией Г.Г. Орлова, относится к нему с той внутренней заинтересованностью, которую всегда обнаруживал по отношению к людям, обладавшим душой и духом. Давно известно, что удаление Орлова от государственных дел не повлияло на его отношения с Херасковым. К числу «дальних» культурных отзвуков его «орловской» ориентации относятся, по всей вероятности, проявления сочувственного интереса к деятельности и судьбе св. кн. Г.Г. Орлова со стороны поэтов, так или иначе причастных к херасков-

¹⁸ При этом нам неизвестно, знал ли Сумароков о предсмертном покаянии Трубецкого перед графиней Е.И. Головкиной, простившей его (см. об этом: Хмыров 1867, 241) (как не знаем и того, в какой мере вся эта история повлияла на Хераскова и способствовала ли она углублению его мистицизма).

ской сфере влияния. Так, Карамзин посвятил Орлову и его безвременно скончавшейся в Лозанне жене Екатерине Николаевне, урожденной Зиновьевой (1758–1781), несколько сочувственных строк в «Письмах русского путешественника» (Карамзин 1797–1801, 3, 206–207); именно эти строки вспомнит кн. П.А. Вяземский, воспитанник Карамзина, оказавшийся в Лозанне спустя полвека после него (Ивинский 2017, 88). Напомним в этой связи и о гр. В.Г. Орлове, владельце усадьбы Отрадное: в его библиотеке имелись сочинения Хераскова (в частности, поэма «Владимир Возрожденный»), он был поклонником Поупа и знал наизусть «Опыт о человеке», а в число его «постоянных посетителей» входил Карамзин (Орлов-Давыдов 2, 9, 10, 219).

Херасков, его литературная среда и русская литература 1760–1810-х гг.

Тема, обозначенная в этом заголовке, не может быть рассмотрена здесь с необходимой полнотой. Наша задача, напомним, принципиально иная: нам необходимо обозначить ключевые аспекты проблемы и прочертить основные линии развития. По этой причине мы обсуждаем здесь лишь наиболее важные для русского литературного процесса фигуры, не останавливаясь на менее значимых.

Начнем с И.Ф. Богдановича, о котором нам пришлось уже здесь упоминать; он оставил краткую автобиографию, текст которой мы сейчас приведем с минимальными сокращениями:

В службу вступил в Москве юнкером, десяти лет, <1>754 <г.> марта 21: определен же был в Юстиц-Коллегию, в которой тогда Президентом был Никита Михайлович Желябужский <...>.

Из детства любил чтение книг, рисование, музыку и стихотворство, к которому особливо получил вкус чтением Стихотворных сочинений Михаила Васильевича Ломоносова.

По четырнадцатому году сочинил несколько духовных концертов <...>. По пятнадцатому же году, сочинил несколько стихов, и таланта-

ми своими приобрел себе особенную знаемость с домами князя Михаила Ивановича Дашкова, Александра Борисовича Неронова и Михаила Матвеевича Хераскова.

В то время новозаведенный Московский Университет, под покровительством Ивана Ивановича Шувалова, представил ему способ к другим учениям.

Президент Юстиц Коллегии, по прозвбе князя Михаила Ивановича Дашкова, дозволил в разсуждении оказываемой особой склонности к наукам юнкера Богдановича, отлучаться ему от должности юнкерской и обучаться в Университете, где бывший тогда директор Иван Иванович Мелиссино и тогдашний Член Университетской Канцелярии Михайло Матвеевич Херасков, приняли его в особое покровительство; последний пригласил и жить у себя в доме.

(Любовь к Музам Михаила Матвеевича Хераскова скоро сообщена была к воспринятому в дом Богдановичу, благосклонность же к воспитаннику сделала его известным между всеми родными и знакомыми Михайла Матвеевича.)

В <1>761-м году, октября 29, по представлению Университета, Сенатским Указом определен во оный, с чином прапорщика, к надзору над классами, и тем же указом причислен в Навагинской Полк.

Молодых лет его некоторыя сочинения помещены в изданных тогда при Университете периодических сочинениях.

Дом Михайлы Федотовича Каменскаго вообще оказывал столько ему благоволения, что после он всегда считал себя особо дому его обязанным.

(Сергей Гарасимович Домашнев, Денис Иванович Фонвизин, Аркадий Иванович Марков, Яков Иванович Булгаков, Василий Андреевич Приклонской, Александр Григорьевич Карин, были отличнейшие ученики тогда в Университете и некоторые из них тогда еще упражнялись также в Литературе.)

В <1>762-м году, Июля 19, в скорое по вступлении на престол Императрицы Екатерины II, определен был, по требованию покойнаго Генерал-Фелдмаршала Князя Никиты Юрьевича Трубецкаго, в комиссию о строении торжественных ворот и отпущен обратно октября 22 того ж года.

В 1763-м году, мая 3, по прошению его, отослан от Университета в Военную Коллегию, а того же Мая 26, определен в штат к Генерал-Аншефу Графу Петру Ивановичу Панину в переводчики, по просьбе Княгини Екатерины Романовны Дашковой <...>

и употреблен был к соучаствованию в издаваемом под ея покровительством Журнале, названном *Невинное Упражнение*.

По отсутствию Ея Сиятельства в Санктпетербург, перевел военную книгу, под титулом *Малая Война*, в военном прапорщичьем чину, был 1 год, 9 месяц. 22 дня, и дедиковал ее Графу Петру Ивановичу Панину.

Тогож года за графом Петром Ивановичем Паниным поехал в Санктпетербург.

В 1764-м Апреля 30, взят в иностранную коллегия в переводчики, в том же году приобщен в Экономическое общество.

В 1765-м перевел волтерову комедию Нанину.

В <1>766-м году Апреля 19 определен в должность секретаря посольства к Саксонскому Двору при покойном министре Князе Андрее Михайловиче Белосельском, с которым вместе поехал туда 23 мая, и приехали Июля 30.

Граф Алексей Григ. и граф Федор Григ. Орловы, приехали в Дрезден в конце <1>768 года, расположась ехать к водам. Тут он имел случай быть очень знаем графом Федором Григорьевичем.

В <1>768 м году, чрез письмо к Графу Никите Ивановичу Панину, просился обратно в Санктпетербург; ордер о том от Его Сиятельства к Князю Андрею Михайловичу Белосельскому, получен в Феврале <1>769 года и того же месяца 16 числа по оному отправился он обратно в Санктпетерб. приехал марта 20, в Дрездене был 2 год.<a> 6 месяц<ев>, весь вояж 2 год.<a> 10. мес.<ацев> 20. дн.<ей>.

Будучи оставлен в иностранной коллегии, начал более упражняться в литературе.

Перевел тогда Историю о бывших переменах в Римской Республике, Господина Абата Вергота <...>, о вечном мире Г.<осподина> Жан Жака Русо <...> и с Италианского языка песнь Мишеля Анжела Жианетта, за перевод которой имел щастие удостоиться Ея И-го В-ва благоволения и быть представлен лицу ея.

С Сентября месяца <1>775, издавал ежемесячное издание, под титулом Санктпетербургский вестник, который продолжался 16 месяцев.

<1>775 Декабря 23 дня, принял в Академии приватную должность, иметь главное смотрение в издании Санктпетербургских ведомостей. Сию должность отправлял по Декабрь 1782 года.

Между тем сочинил первую часть Исторического Изображения России, и Душеньку Древнюю Повесть. Оба сии сочинения Академиею Наук с похвалами опробованы и куплены.

<1>776 марта 23, по представлению иностранной Коллегии произведен Сенатом в Ассесоры. Переводчиком был 11 лет. 10 месяц.<ев> 21 дн.<ей.>

<...>

В <1>783-м и <1>784-м издал несколько своих мелких сочинений в Собеседнике: привел в порядок русския пословицы, разделя их на три части, кои также Академией Наук куплены и напечатаны.

<...>

В 1784-м марта 15, пожалован Сенатом в Надворные Советники, и оставлен при прежней должности. В Ассесорском чину был 7. лет. 11. мес.<яцев> 22 дн.<ей.>

В 1786-м году в Апреле, по имянному Монаршему повелению сочинил Лирическую Комедию, радость Душеньки, которая удостоена была высочайшей опробации, и в знак Монаршего благоволения при сем случае пожалована ему от Государыни табакерка, вскоре же потом пожалованы на заплату долгов деньги. По представлении же комедии на придворном театре, пожалована еще табакерка.

В 1787-м году, сочинил Драмму *Славяне*, которая по подании оной Ея И-му В-ву, удостоена новаго Монаршего благоволения и сочинителю при том пожалован перстень. Драма же отдана Степану Федоровичу Стрекалову для употребления оной на Театре.

В том же году, по имянному Монаршему повелению, сочинил из русских пословиц два театральных представления, кои также удостоены Монаршего благоволения и на театр отданы. <...>.

В 1788-м году определением Сената 28 августа помещен в Государственном Архиве, где находился на Ассесорской вакансии в должность Колежскаго Советника, Председателя.

В <1>793-м году сочинил оду и кантату на заключенный мир с отоманскою Портою.

В сем же году Сентября 2 дня произведен в Колежские советники и оставлен при прежней должности. В чине Надворнаго Советника был 9 лет. 5. мес.<яцев> 16 дн.<ей.>

В том же году сочинил стихи Ея И-му В-ву под титулом: Парнасские венцы.

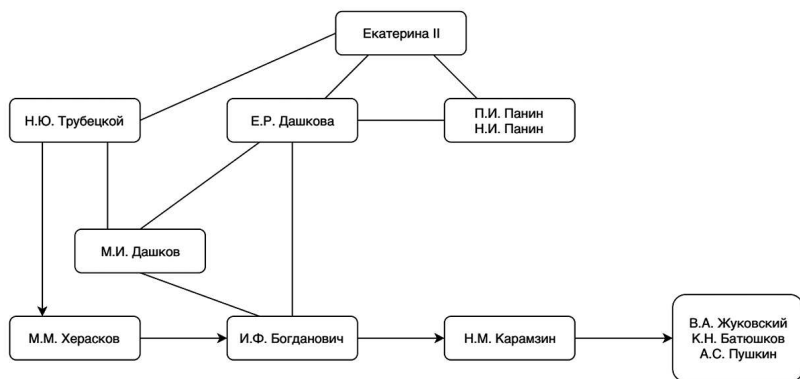
Уволен от службы с полным жалованием 1795 Маяя 1. В службе находился 41 год и 11 дней

(Геннади 1853, 183–186).

Мы привели здесь этот текст не потому, что он содержит важные биографические факты, в том числе точно датированные (в данном исследовании мы не занимаемся специально биографическими разысканиями), или во всяком случае не только поэтому, а в первую очередь потому, что он дает модель действий Хераскова и его круга, направленных на поддержание молодых талантов. В пределах этой модели сочетаются два измерения жизни и два типа мотивации: официальная (гимназия – университет – государственная служба) и неформальная, но не менее важная масонско-розенкрейцерская (поиск и соединение усилий тех, в ком различимы искры истинного света).

Итак, уже отчасти знакомый нам кн. М.И. Дашков рекомендует Богдановича Хераскову, тот обеспечивает ему возможность учиться в Московском университете, причем именно в университетских изданиях он начинает печататься, обретая свое место в кругу «херасковцев»; здесь же отметим, что с кругом этим был связан и не встречавшийся нам ранее гр. М.Ф. Каменский (1738–1809): на его сестре в начале 1766 г. женился А.А. Ржевский, крупнейший поэт из окружения Хераскова. Через какое-то время кн. Е.Р. Дашкова «подхватывает» херасковского воспитанника, обеспечивая ему возможность служить при гр. П.И. Панине (позднее и при его брате, Н.И. Панине в иностранной коллегии; в 1774 г. начальник и подчиненный состоят в одной и той же петербургской ложе, причем здесь распределение функций, сколько известно, скорее обратное – Панин член ложи, Богданович – обрядоначальник [Серков 2001, 968]; впрочем, масонский статус Панина нужно обсуждать отдельно, и вряд ли можно сомневаться в том, что в целом он был, конечно, более высоким, чем Богдановича) и употребляя его литературные возможности для издания журнала «Невинное упражнение» (ср.: «Авторство Богдановича много поддерживала княгиня Дашкова» [Дмитриев 1869, 22]), а позднее вводит его в придворный круг, и нет никаких сомнений в том, что опыт этот оказался удачным, поскольку Богданович сумел заслужить благоволение императрицы Екатерины II. В 1783 г. Дашкова приглашает Богдановича к участию в журнале «Собеседник любителей русского слова», и он оказывается деятельным вкладчиком издания. Успел проявить заинтересованность в судьбе Богдановича и

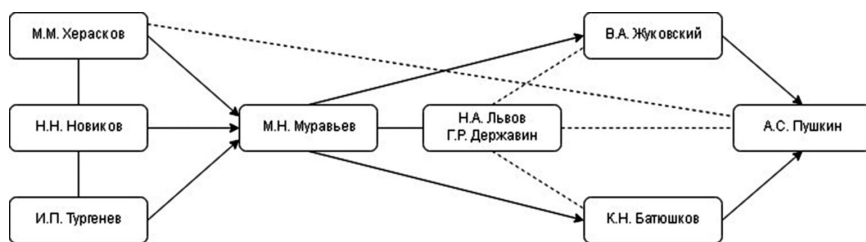
кн. Н.Ю. Трубецкой, привлекая его к торжественным мероприятиям, которые должны были ознаменовать начало екатерининского царствования. Карамзин посвятил Богдановичу обширный биографический очерк «О Богдановиче и его сочинениях», оказавшийся первым опытом обобщения его заслуг перед русской литературой, фактически оформивший его посмертную литературную репутацию; несомненные следы влияния творчества и личности Богдановича обнаруживаются, в частности, у Жуковского, Батюшкова, А.С. Пушкина. Зафиксируем эти связи на схеме:



От Богдановича перейдем к М.Н. Муравьеву, который, как мы видели, считал Хераскова своим наставником в поэзии и посвящал ему стихотворения, исполненные восхищения и благодарности, а в одном из них соотносил Хераскова с Ломоносовым, которого рассматривал как центральную фигуру в русской послепетровской культуре (Муравьев 1774).

Муравьев учился в университетской гимназии (1768–1769), затем, недолго, в университете (1769–1770); его ближайший друг – И.П. Тургенев (сам не чуждый литературным занятиям), на похоронах которого Муравьев простудился и вскоре умер; о масонской деятельности Муравьева мы практически ничего не знаем, но почти никто не высказывал сомнений в том, что она имела место (кроме В.Н. Топорова, который уверенно утверждал, что Муравьев «не был членом масонской ложи» [Топоров, 3, 158], опираясь, вероятно, на статью В.А. За-

падова в известном словаре [Западов 1999, 308–309], в свою очередь опиравшегося на мнение Л.И. Кулаковой [Кулакова 1976, 20–22]; мы принимаем иную версию, зафиксированную в справочнике, к которому выше уже не раз обращались [Серков 2001, 565; см. также: Кочеткова 2003, 692–694]), и мы знаем, что Муравьев сотрудничал с журналом Новикова «Утренний свет», который, судя по опубликованной части их переписки, играл роль духовного наставника Муравьева в масонской науке. Муравьев был хорошо знаком с сыновьями Н.Ю. Трубецкого, в свою очередь тесно связанными и с Херасковым, и с И.П. Тургеневым. От Хераскова и Новикова литературные связи Муравьева тянутся к Карамзину, в альманахе которого «Аониды» он печатался, далее к К.Н. Батюшкову, который считал Муравьева своим учителем, а также к Жуковскому, совместно издававших посмертное собрание сочинений Муравьева и, оказавшись литературными учителями А.С. Пушкина, поддержали, если не сформировали его выраженный интерес к творчеству Муравьева. Это не все: именно Муравьев связывает круг Хераскова с кружком Н.А. Львова – Державина, причем Львов, наряду с Тургеневым, оказывается его ближайшим другом. Зафиксируем это на схеме, учитывая, что Херасков, и Новиков, Муравьев, Державин, Львов могли оказывать как опосредованное, так и непосредственное воздействие на Карамзина, Батюшкова, Жуковского, Пушкина, а вместе с тем, естественно, и друг на друга:



Наконец, обсудим третий сюжет, не менее выразительный, – карамзинский.

Как известно, на судьбу Карамзина особое, если не решающее, воздействие оказал И.П. Тургенев. К какому времени относится их

знакомство, точно не известно; не исключено, что оно состоялось еще во время учебы Карамзина в пансионе Шадена. В конце 1784 г. Карамзин, к этому времени уже вступивший в Симбирске в ложу Златого венца, под влиянием бесед с Тургеневым отправляется в Москву. Тургенев знакомит его с Новиковым, после чего Карамзин входит в его «Дружеское ученое общество» и, видимо, в это же время знакомится с Херасковым. Именно Тургенев, Новиков, Херасков становятся опорой Карамзина в литературе и в жизни: насколько известно, никаких других влиятельных знакомых у Карамзина в те годы не было. Очень быстро он делается своим человеком в этой среде. Много переводит, причем именно тех авторов, к которым масонская среда питала особый интерес (полный список переводов Карамзина: Кафанова 1989). Новиков привлекает его к изданию журнала «Детское чтение для сердца и разума» (см. об этом: Берков 1952, 430; Кочеткова 1999, 34), и деятельность по редактированию журнала многое обуславливает в дальнейшей литературной деятельности Карамзина.

В «Детском чтении», кроме переводов, он печатает несколько стихотворений и свою первую «сентиментальную повесть» «Евгений и Юлия». В «Детском чтении» уже намечено все то, что будет развернуто Карамзиным в «Московском журнале», а вместе с тем сформировались его принципы взаимодействия с читательской аудиторией, важнейшим из которых был принцип адекватности: эстетическое, психологическое, идеологическое воздействие на читателя признается неосуществимым, если его заставляют скучать, что особенно пагубно, если читатель этот в силу юного возраста только приступает к оформлению своего мироощущения. Основным способом борьбы со скукой признается разнообразие и уменьшение объема публикуемых текстов: если в первых восьми частях «Детского чтения» число публикуемых произведений было достаточно велико, то с девятой по шестнадцатую части в журнале помещались обширные сочинения, рассчитанные на то, что у читателя уже сформирована привычка к внимательному чтению сложных текстов значительного объема; в шестнадцатой же происходит резкий перелом с возвращением к первоначальной практике, но с усилением разножанровости, что еще более оживило «Детское чтение».

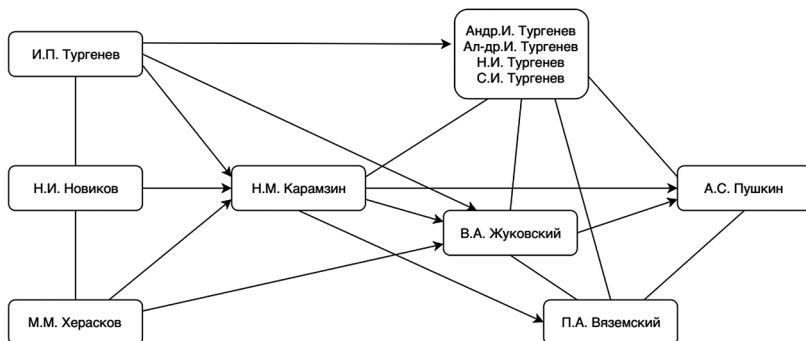
Этот опыт Карамзин учел после своего возвращения из поездки по Европе, приступая к изданию «Московского журнала». В это время он постоянно взаимодействует с Херасковым, который участвует и в «Московском журнале», и в «Аглае», и в «Аонидах», несмотря на резкое охлаждение отношений Карамзина с частью московских масонов, в том числе Н.Н. Трубецким, сводным братом Хераскова, и фактически становится стратегическим союзником Карамзина в том, что касалось литературной деятельности. Одновременно через посредство И.И. Дмитриева он устанавливает литературные отношения с Державиным, который участвует в его изданиях, начиная с того же «Московского журнала».

От Карамзина линия литературной преемственности, как известно, тянется к Жуковскому, который считал его «учителем поэзии и жизни» (Веселовский 1904, 48). Нет никаких сомнений и в том, что Карамзин был не единственным его «учителем»; в только что процитированном исследовании с полным основанием говорится и о влиянии на Жуковского в годы его пребывания в благородном пансионе при Московском университете со стороны московских масонов, «старика Ив.<ана> Петр.<овича> Тургенева и Ив.<ана> Влад.<имировича> Лопухина с его учением о “внутренней церкви”» (Веселовский 1904, 49). В связи с этим напомним, что с 1791 г. университетским пансионом руководил А.А. Прокопович-Антонский (1762–1848), будущий ректор Московского университета, тесно связанный с московскими масонами, в том числе с Херасковым, И.Е. Шварцем и в целом с новиковским Дружеским обществом, благодаря которому в 1782 г. был переведен в Московский университет из Киево-Могилянской академии (подробнее об этом: Резанов 1906, 15–30); в 1783 г. Прокопович розенкрейцер в университетской ложе Гермеса, управляющим мастером которой был Н.Н. Трубецкой¹⁹. Именно Прокопович-Антонский принял Жуковского в 1797 г. в пансион, а дирек-

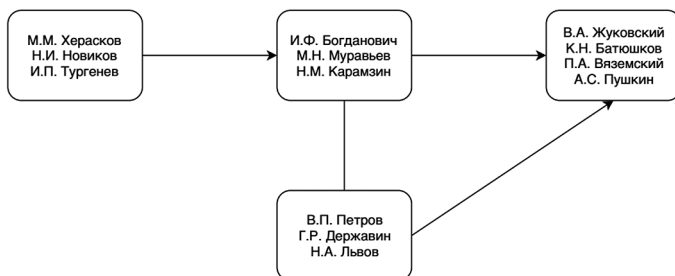
¹⁹ Серков 2001, 952; автор позднейшей и требующей критической проверки монографии, полемизируя с Серковым, указывает, что в сводном списке лож теоретического градуса имя Прокоповича отсутствует, однако оставляет его в собственном сводном списке (Кондаков 2012, 302, 307, 311). Работа Серкова между тем представляется очевидной: Прокопович-Антонский собственноручно засвидетельствовал свое участие в ложе Гермеса (Гершензон 1910, 336).

тором Московского университета в это время был И.П. Тургенев, знакомый с родными Жуковского (Зейдлиц 1883, 20). С детьми его, также учившимися в университетском пансионе, особенно с Андреем Ивановичем (1781–1803) и Александром Ивановичем (1784–1845) Тургеневыми, у Жуковского сложились прочные дружеские отношения; при этом с ними обоими он состоял в «Дружеском литературном обществе» (1801), а со вторым – в литературном обществе «Арзамас» (1815–1818), генетически связанном и с обществом 1801 г., и с пансионскими литературными кружками, и с новиковским «Дружеским обществом» (разумеется, эти связи давно отмечены, см. в особенности: Истрин 1910, 306–307). С братьями Тургеневыми был теснейшим образом связан кн. П.А. Вяземский (Александр Иванович Тургенев – наряду с Жуковским – в течение нескольких десятилетий оставался его ближайшим другом) и, хотя и в несколько меньшей степени, А.С. Пушкин (тот же Ал.И. Тургенев в 1811 г. принимал самое активное участие в устройстве маленького Пушкина в царскосельский Лицей, и он же в начале 1837-го оказался единственным другом Пушкина, сопровождавшим его тело для захоронения в Святогорском монастыре). Отношения Жуковского с Херасковым, в силу разницы лет, не могли, в силу различия лет, стать существенным фактором литературной жизни, однако они имели место, и при этом литературный вкус Жуковского формировался именно под влиянием Хераскова (ср., например, краткую сводку данных об интересе Жуковского и его ближайших друзей к Поупу: Кочеткова 2007); напомним и о том, что одним из первых стихотворений Жуковского стало послание к Хераскову 1799 г., в котором этот «друг Минервы» приводил «детей», то есть воспитанников университетского пансиона «в тот храм, где Муза озарила» его «бессмертия лучом» (Жуковский, 1, 30); ранее, в ноябре 1798 г. в пансионской речи Жуковский говорил о руководстве «доброго, чувствительного» Хераскова и обещал, что «насажденные» им «семена премудрости и добродетели в умах и сердцах» его воспитанников «возрастут в дерево великое, коего плоды будем мы собирать и в самой вечности» (Жуковский, 1, 426).

И вновь обобщим ситуацию графически:



Теперь мы можем попытаться объединить наши схемы. В предельно упрощенном виде занимающая нас модель выглядит примерно так:



Но именно *примерно* так; более того, то, что мы здесь выстроили, – лишь самый грубый набросок, а не завершенная картина реальности, к которой мы пытаемся приблизиться, обсуждая не столько ее внутреннее содержание, сколько ее контуры и границы, и имея в виду и то, что этот обсуждаемый нами образ литературного процесса требует конкретизации многих деталей (не всегда слишком просто или прямолинейно сочетающихся друг с другом), и то, что он может быть развернут более широко. Например, на всем пространстве «пушкинской эпохи» и даже в какой-то мере за ее пределами (взаимодействие Жуковского с салоном Елагиной; Пушкина с «любомудрами»; Жуковского, Вяземского и Пушкина с Гоголем и Тютчевым и т.д.).

Однако Пушкиным и его временем ограничиваются *непосредственные* идеологические и творческие импульсы, шедшие от Карамзина; показательно, что именно Пушкина считают преемником Карамзина Жуковский и Вяземский и что последний утверждал, что со смертью Пушкина в русской литературе воцарились «безначалие» и хаос.

Херасков же пушкинским поколением не воспринимается как актуальный поэт (во всяком случае, после поэмы «Руслан и Людмила» [1820], в которой, как известно, различимы следы чтения «Бахарианы» [1803]), творческое взаимодействие с литературным наследием которого могло бы иметь смысл; более того, уже Вяземский, старший современник Пушкина, оценивает Хераскова в целом иронически (ср., напр.: Вяземский, 8, 11, 15, 17–18, 27–29), а Жуковский (начинавший, как мы видели, свой творческий путь с похвальных стихов Хераскову), подчеркивая непреходящее значение Ломоносова, констатирует принципиальную несоизмеримость с ним как Сумарокова, так и Хераскова, а вместе с тем причисляет последнего к забытым поэтам (Жуковский, 12, 352–353). Кажется, это был первый случай концептуального сближения этих имен.

Вместе с тем нам придется отдать себе отчет в том, что влияние Хераскова и его группы на младших поэтов было сложным, часто опосредованным, отнюдь не сводилось к идеологии «масонского просвещения», во всяком случае прямолинейно или упрощенно понимаемой: эта идеология по-разному оформлялась для каждого упомянутого здесь поэта, в зависимости от его готовности следовать «братским путем», от его интеллектуальных и эстетических предпочтений, от его представлений о будущем русской литературы и собственных возможностях, от многих дополнительных факторов, среди которых личностные особенности, взаимоотношения с властями, стечения обстоятельств, удары судьбы, множественные влияния со стороны поэтов, философов, идеологий – от всего того, что обуславливает специфику литературной жизни.

Здесь мы намерены ограничиться одним примером такого рода, касающемся Карамзина, литературная деятельность которого обозначила новый и уже, конечно, не херасковский период в истории

русской литературы. Речь пойдет о рецензии Карамзина на роман Хераскова «Кадм и Гармония», значение которой, как справедливо принято считать, выходило далеко за пределы обычной журнальной рецензии: это была, в сущности, литературная декларация, раскрывавшая, что особенно важно для нас, отношение Карамзина к Хераскову, и именно в кризисный для отношений Карамзина с московскими масонами период. Основной вопрос, на котором нам придется остановиться, не раз обсуждался и заключается в следующем: остался ли Карамзин после «разрыва с масонством» в «сфере притяжения» Хераскова или комплименты, прозвучавшие в его адрес в этой рецензии, были лишь ширмой, за которой скрывались непреодолимые расхождения принципиального характера.

Карамзин, Херасков, «Кадм и Гармония»

На наш взгляд, вряд ли можно сомневаться в том, что после возвращения Карамзина из путешествия по Европе центральной фигурой в его литературном окружении оказался Херасков. При всем значении не только литературных, но и дружеских связей с И.И. Дмитриевым, при всем значении знакомства с Г.Р. Державиным, именно Херасков стал для него необходимым союзником, сумевшим нейтрализовать многие негативные последствия того события, которое обычно называют «разрывом» Карамзина с московскими масонами.

На первый взгляд, это наше утверждение противоречит позиции, заявленной Карамзиным публично.

В самом деле, в газетном объявлении о скором выходе в свет «Московского журнала» было сделано краткое и предельно общее указание на круг литераторов – участников будущего издания, и только один из них был назван по имени: Державин, а не Херасков²⁰.

²⁰ «Первый наш поэт – нужно ли именовать его? – обещал украшать листы мои плодами вдохновенной своей музыки. Кто не узнает певца мудрой Фелицы? Я получил от него некоторые новые песни. И другие поэты, известные почтенной публике, сообщили и будут сообщать мне свои сочинения. Один приятель мой, который из любопытства путеше-

Этим Карамзин, как известно, не ограничился: бегло охарактеризовав тематику своего журнала, Карамзин заявил, что не намерен печатать «*только теологические, мистические, слишком ученые, педантические, сухие пьесы*» (Московские ведомости. 1790. № 89. 6 ноября. С. 6).

Данная фраза, не раз обсуждавшаяся исследователями и отражавшая продуманную литературную позицию Карамзина, которую он не раз подтверждал²¹, была воспринята частью московских масонов как ничем с их стороны не спровоцированное заявление о прекращении сотрудничества с ними. Между тем именно они были культурной средой Хераскова, причем такой, которая воспринимала его как крупнейшего поэта современной русской литературы. Поэтому попытка дистанцироваться от этой среды могла и должна была означать и отдаление от него – или по крайней мере так восприниматься.

Но именно этого не произошло. Невзирая на недоуменные вопросы, доносившиеся из круга московских масонов²², Херасков, как ни

ствовал по разным землям Европы, – который внимание свое посвящал природе и человеку, преимущественно пред всем прочим, и записывал то, что видел, слышал, чувствовал, думал и мечтал, – намерен записки свои предложить почтенной публике в моем журнале, надеясь, что в них найдется что-нибудь занимательное для читателей» (Московские ведомости. 1790. № 89. 6 ноября. С. 6).

²¹ Ср. в особенности в одной из заметок для раздела «Смесь» «Московских ведомостей» 1795 г.: «Двадцать лучших авторов соединились в Германии для издания Журнала, которого цель есть та, чтобы возвышать в сердцах людей *чувство добра и красоты*. Ни слова о политике, ни слова о схоластической метафизике! Все должно быть понятно, питательно для души, усеяно цветами Граций. – Такое периодическое сочинение есть важный феномен в Литтературе. Объявление писано Шиллером, который после долговременной болезни снова является на сцене авторства» (Карамзин 1854, 7, 40). В русском литературном контексте «Московский журнал» неизбежно осмыслялся как предшественник «Die Noren» (1795–1797), и издатель первого приветствовал появление второго, оставаясь на той же точке зрения, которая была им заявлена в ноябре 1790 г.: теперь, через пять лет, *лучшие авторы Германии*, соединившись в шиллеровском журнале, фактически подтвердили, разумеется не ведая того, правильность занятой им тогда позиции.

²² Видимо, вполне показательна реакция А.М. Кутузова, который в начале 1791 г. писал к Н.Н. Трубецкому, сводному брату Хераскова: «Я слышу, что любезный мой Карамзин произвел себя в авторы и издает журнал для просвещения нашего отечества. Признаюсь, что его “Объявление” поразило мое сердце, но не мало также удивился и тому, что М.<ихаил> Матв.<еевич> будет участвовать в том. Пожалуйста, скажите мне, что все сие значит, что молодой человек, сняв узду, намерен рыскасть на поле пустыя славы? Сие больно мне, но не удивляет меня; но ежели муж важный и степенный одобряет такого юношу, сие приводит меня в изумление» (Барсков 1915, 70).

в чем ни бывало, демонстрировал готовность участвовать во всех изданиях Карамзина, начиная с «Московского журнала».

А Карамзин, вроде бы заявивший о союзе с Державиным как о своем стратегическом выборе, последовательно демонстрировал своим читателям иную позицию: «первому нашему поэту» Державину он отводил «почетное» второе место, а Хераскову первое.

Напомним, что именно одой Хераскова открылся «Московской журнал» (Херасков 1791), *после которой* было помещено «Видение Мурзы» Державина, и в том же номере Карамзин напечатал обширную рецензию на роман «Кадм и Гармония» (Карамзин 1791). Далее, если участие Хераскова в «Аглае» не стало слишком значительным, то в «Аонидах» именно он вновь выдвинулся на первый план: первая и вторая книжки «Аонид» открывались его пьесами (Херасков 1796; Херасков 1797), причем в первой на втором месте оказался В.В. Капнист, поэт, близкий к Державину (Капнист 1796), во второй сразу *после* Хераскова – по образцу первого номера «Московского журнала» – была напечатана ода Державина на новый год (Державин 1797).

К этому необходимо прибавить письмо Карамзина к П.М. Хераскову от 13 мая 1795 г., напечатанное М.Н. Лонгиновым, из которого видно, что отношения Карамзина с семейством Херасковых в это время оставались вполне сердечными (Лонгинов 1858, 587–588), и опубликованные В.Э. Вацуру фрагменты писем Е.В. Херасковой к И.П. Тургеневу от февраля и марта 1795 г., в которых содержится апологетическая оценка личности Карамзина, часто бывавшего в это время у Херасковых (Вацуру 1999, 37–38).

Если же одновременно принять правдоподобную догадку Н.Д. Кочетковой о том, что криптонимы «И. К*» и «Сочинение Из. К**», которыми подписаны тексты, напечатанные в «Московском журнале» и давно атрибутированные Хераскову (Погодин, 1, 173; Виноградов 1961, 249), должны расшифровываться «И.<здатель> К.<адма>» и «Сочинение Из.<дателя> К.<адма>» (Кочеткова 1995, 182; Кочеткова 2006, 162–163), картина станет более чем выразительной: перед нами совершенно недвусмысленные свидетельства литературного союза, заключенного Карамзиным с Херасковым, причем на роль ключевого текста, вокруг которого этот союз выстраивался, выдвигается роман

«Кадм и Гармония», а вместе с тем особое значение приобретает карамзинская на него рецензия²³.

Но для того чтобы уяснить ее смысл, нам придется вернуться к реакции московских масонов на карамзинское объявление. Из их переписки, напечатанной Я.Л. Барсковым (Барсков 1915), видно, что они крайне резко комментировали и объявление, и, в частности, фразу о нежелательности «сухих пьес», и само намерение Карамзина издавать журнал, а вместе с тем высказывали разного рода предположения о тех умственных и нравственных изменениях к худшему, которые должны были произойти с их недавним единомышленником во время его путешествия и которые с очевидностью – с их точки зрения – обнаружались в тот момент, когда он заявил об этом своем намерении.

Мы не знаем точно, что именно из их писем или отзывов о Карамзине, которые должны были звучать и в более или менее частных беседах, сделалось ему известно, но во всяком случае не подлежит сомнению, что он не остался в неведении.

Вряд ли мы ошибемся, если предположим, что основным источником его сведений об этом, помимо писем и приписок в письмах, ему адресованных, стало семейство Плещеевых, с которым он был тесно связан, и в первую очередь Н.И. Плещеева, к которой некоторые ее друзья из масонского круга писали, видимо, не без расчета на то, что она изложит Карамзину их точку зрения; напомним и том, что

²³ Не рассматриваем здесь вопрос о том, мыслился Карамзиным этот союз как тактический или стратегический, на какое время он был рассчитан, в какой мере Карамзин допускал соперничество с Херасковым в рамках этого союза с ним, претендовал ли он на роль его преемника в русской литературе и т.д. При всей важности этих вопросов, за отсутствием твердо установленных фактов они вряд ли могут быть разрешены в настоящее время. Отметим только, что выбор между Карамзиным и Херасковым для современников отнюдь не был очевидным; наиболее яркий пример тому дает известная речь Андрея Ивановича Тургенева в «Дружеском литературном обществе» 1801 г., который признал, что Карамзин был «более вреден, нежели полезен нашей Литтературе» и что «Херасков больше для нас сделал нежели Карамзин» (Фомин 1912, 29). На другом полюсе культуры – литературное сознание поместного образованного дворянства, менее искушенного в деталях литературной жизни, менее образованного и, как правило, никак не связанного с московской масонской традицией, которому Херасков и Карамзин могли открываться как поэты одного «литературного ряда», ср., напр.: «Сверх всякого ожидания бабушка Прасковья Ивановна подарила мне несколько книг, а именно: “Кадм и Гармония”, “Полидор, сын Кадма и Гармонии”, “Нума, или Процветающий Рим”, “Мои безделки” и “Аониды” – и этим подарком много примирила меня с собой» (Аксаков 1858, 325).

Карамзину пришлось выслушать ряд претензий от кн. Н.Н. Трубецкого, после чего их общение на некоторое время прервалось (Барсков 1915, 94).

Во всяком случае, предисловие Карамзина к первому номеру «Московского журнала» производит впечатление прямого – и вместе с тем внятного только лицам, осведомленным о его «разрыве» с масонами, – ответа на некоторые из тех претензий, которые вышли из их среды.

Сопоставим тексты.

17/28 декабря 1790 г. Кутузов в письме к А.А. Плещееву делает приписку для Карамзина: «При издании твоего журнала, щадя твоего друга, помни изречение аглинского же писателя: *There are four good Mothers, of whom are often born four unhappy Daughters, Truth begets hatred, Happiness Pride, Security Danger, and Familiarity Contempt*²⁴. Прости, любезный друг, ожидаю с нетерпением, что ты мне скажешь» (Барсков 1915, 55). В тот же день Кутузов пишет к Н.И. Плещеевой, вероятно догадываясь, что она не утаит от Карамзина это письмо: «Удивляюсь перемене нашего друга и признаюсь, что скоропостижное его авторство, равно как план, так и его “Объявление” поразили меня горестью, ибо я люблю его сердечно. Вы знаете, я давно уже ожидал сего явления, – я говорю об авторстве, – но я ожидал сего в совершенно ином виде. <...> Ежели в нашем отечестве будут издаваться тысячи журналов, подобных Берлинскому и Виландову, то ни один россиянин не сделается от них лучшим, напротив того, – боюсь, чтобы тысячи таковых журналов не положили миллионов новых препятствий к достижению добродетели и к познанию самих себя и Бога» (Барсков 1915, 58). Если оставить в стороне некоторые менее важные детали, то «горесть» Кутузова объясняется заботой о благе соотечественников, которому угрожают журналисты, способные воздвигнуть серьезные, возможно непреодолимые, препятствия на пути их нравственного развития; Карамзин мыслится как один из них. Так выясняется, что дело не только и даже не столько в разочарованиях личного характера, сколько в более глубоких метафизических и нрав-

²⁴ Автор этого пассажа Ричард Стил (Steele) (1672–1729), см.: *The Guardian*. 1713. № 6: March 18.

ственных представлениях. И одновременно образ безрассудного Карамзина уточняется, обретая выразительные детали, свидетельствующие о том, что Кутузов избавился или избавляется от иллюзий на счет своего приятеля, претендующего на роль русского Виланда.

В «Предуведомлении» к «Московскому журналу» Карамзин демонстративно напоминает о своем объявлении и недвусмысленно подтверждает заявленную там позицию: «Читатель увидит в сей первой книжке творения тех Поэтов, о которых говорил я в объявлении; и впредь будет их видеть» (Карамзин 1791, 5).

При этом впечатление прямого ответа на реплику Кутузова о препятствующих улучшению нравов «тысячах журналах, подобных Берлинскому и Виландову», производит (а вполне вероятно, и является таковым) следующий пассаж: «Журнал выдавать не шутка – я знаю – однако ж чего не делает охота и прилежность? Множество иностранных Журналов лежит у меня перед глазами; ни одного из них не возьму я за точный образец, но всеми буду пользоваться» (Карамзин 1791, 5).

С этой скрытой полемикой, впрочем не наступательной, а сугубо оборонительной, связан эпиграф из поэмы Александра Поупа «Опыт о человеке» («Essay on Man», 1734): «Pleasures are ever in our hands or eyes» (= «Удовольствия всегда у нас в руках или перед глазами»). Эта поэма, дидактическая, моралистическая и мистическая, созданная одним из самых известных английских поэтов, высоко ценилась в кругу московских розенкрейцеров, была переиздана Новиковым в 1787 г. (СК, 2, 448), и сам факт обращения Карамзина к ней не может считаться ни случайным, ни мнимо важным. Стих Поупа, выбранный Карамзиным, как всегда бывает в подобных случаях, вырван из контекста, и читатели, которые не помнили, о чем шла речь в поэме Поупа, или не читали ее, в принципе могли вообразить, что Карамзин, заявляя принцип поиска земных «удовольствий», стремится указать на предшественника и тем самым опереться на него. Те же читатели, которые читали и помнили эту поэму, оказывались в непростом положении. Во-первых, карамзинская цитата из Поупа все же была слишком краткой и для ее понимания нужно было вспомнить стих, следующий за приведенным, лучше несколько стихов, а еще лучше

всю вторую главу («эпистола») поэмы или даже полный текст поэмы. Но вместе с тем и во-вторых, оставалось неясным, как именно содержание поэмы Поупа должно было соотноситься с содержанием «Московского журнала» и в какой мере Карамзин, заявив этим эпиграфом к своему журналу свою общую ориентацию на Поупа, действительно являлся его последователем, почитателем, интерпретатором. Разрешить загадку должно было, очевидно, внимательное знакомство с «Московским журналом», в котором, однако, не было ничего, *прямо* указывавшего на Поупа как на основной и непосредственный источник вдохновения или идей; только публикация полного текста «Писем русского путешественника», в который войдет описание прогулки Карамзина в «миловидную деревеньку» под Ричмондом, в которой жил и умер Поуп (Карамзин 1797–1801, 6, 335–337), раскроет, до некоторой степени, значимость его для Карамзина.

В нашем распоряжении находится только один источник, позволяющий судить о том, как именно Карамзин представлял себе тот минимально допустимый контекст поэмы Поупа, в котором строка об «удовольствиях» обретала свой подлинный смысл. Это альбом выписок, составленный им в 1811 г. для в. к. Екатерины Павловны. Здесь помещен следующий текст, составленный из фрагментов «Опыта о человеке» и включающий интересующий нас стих, за двадцать лет до того послуживший эпиграфом к «Московскому журналу»:

Стихотворец-философ

Self-love and reason to one end aspire,
 Pain their aversion, pleasure their desire;
 But greedy that its object would devour,
 This taste the honey, and not wound the flow'r:
 Pleasure, or wrong or rightly understood,
 Our greatest evil, or our greatest good.

...

Love, hope, and joy, fair pleasure's smiling train,
 Hate, fear, and grief, the family of pain,
 These mix'd with art, and to due bounds confin'd,
 Make and maintain the balance of the mind:
 The lights and shades, whose well accorded strife

Gives all the strength and colour of our life.
Pleasures are ever in our hands or eyes,
And when in act they cease, in prospect, rise:
Present to grasp, and future still to find,
The whole employ of body and of mind.

...

Vice is a monster of so frightful mien,
As, to be hated, needs but to be seen;
Yet seen too oft, familiar with her face,
We first endure, then pity, then embrace...

<...>

Virtuous and vicious ev'ry man must be,
Few in th' extreme, but all in the degree;
The rogue and fool by fits is fair and wise;
And ev'n the best, by fits, what they despise.
'Tis but by parts we follow good or ill,
For, vice or virtue, self directs it still;
Each individual seeks a sev'ral goal;
But heav'n's great view is one, and that the whole:
That counterworks each folly and caprice;
That disappoints th' effect of ev'ry vice;
That, happy frailties to all ranks applied,
Shame to the virgin, to the matron pride,
Fear to the statesman, rashness to the chief,
To kings presumption, and to crowds belief,
That, virtue's ends from vanity can raise,
Which seeks no int'rest, no reward but praise;
And build on wants, and on defects of mind,
The joy, the peace, the glory of mankind.

...

Whate'er the passion, knowledge, fame, or pelf,
Not one will change his neighbour with himself.
The learn'd is happy nature to explore,
The fool is happy that he knows no more;
The rich is happy in the plenty giv'n,
The poor contents him with the care of heav'n.
See the blind beggar dance, the cripple sing,
The sot a hero, lunatic a king<.>

...

See some strange comfort ev'ry state attend,
And pride bestow'd on all, a common friend;
See some fit passion ev'ry age supply,
Hope travels through, nor quits us when we die.

...

Know all the good that individuals find,
Or God and Nature meant to mere Mankind,
Reason's whole pleasure all the joys of Sense,
Lie in three words, Health, Peace and Competence.
But Health consists with Temperance alone,
And Peace oh Virtue! Peace is all thy own.
Pope.

(Лыжин 1859, 169–170; ср.: Pope 1787, 2, 51, 52, 55–57, 74).

В переводе Н.Н. Поповского, переизданном Новиковым, не всегда точном и не отличающимся лаконизмом, но дающим адекватное представление о проблематике поэмы Поупа (ср. апологетическую оценку перевода: Новиков 1772, 168), эти отрывки читаются следующим образом:

Любовь к самим себе в нас склонности рождает,
А ум стремления сердечны управляет.
Не лъзя ни коего из них назвать худым,
Мы должны своего часть щастья обоим;
И та, и тот свой долг и свой конец имеет,
Та клонит, тот сердец движением владеет.
Что с каждым сходствует, то должно звать добром;
А что противно им, почесть достойно злом.

...

Желание, любовь, надежда и отрада,
Увеселения суть отрасли и чада;
Но подозрение, скорбь, ненависть и страх
Неудовольствием рождаются в сердцах.
Как будут меж собой все смешены пристойно,
И каждая стоять в своих пределах стройно,
То мыслей никогда оне не возмутят,
Но больше их еще спокойно утверждают.
Как на картине свет, смешавшись купно с тенью,
Тем больше придает приятности виденью:

Там смесь пристойная воюющих страстей
И силы и красы придаст нам в жизни сей.
Приятности или мы держим уж руками,
Или едиными лишь видим их глазами?
Но ежели в руках их нет и нет в глазах,
То представляем их лишь в мысленных очах.
Бессмертная душа и бренно наше тело,
Имеют труд один, старание и дело.
Чтоб настоящую приятность удержать,
А к будущей пути и средства изобрать.

...

Грех есть чудовище, его толь гнусен вид,
Что ненависть к нему один взгляд возбудит;
Но естли на него кто несколько раз взглянет,
Тогда уже ему не столько гнусен станет,
Помалу сносен, вдруг и жалок нам сей льстец,
И другом мы его щитаем наконец.

<...>

Немного в свете есть, как вовсе беззаконных,
Так к добродетелям без отвращенья склонных;
Но в каждом добрых есть поступок и худых,
И некоторую часть имеет обоих.
По случаю и злой быть может добронравен,
И глупой может быть рассуден и исправен.
И доброй человек то случаем творит,
За что другого он не скоро извинит.
Не вовсе зла бежим, и честность наблюдаем,
От части любим их, от части презираем.
Добро ли или зло, не любим или чтим,
Все только по одним лишь прибылям своим.
Мы каждой в действиях конец имеем разный,
И всех желанья весьма многообразны;
Но Божеский конец есть больший и один,
Всего создания краса и стройной чин.
Все наши глупости, упрямства и пороки
Удерживает он чрез Промысл свой высокий.
Худья следствия продерзости людской
Печется отвратить всеильною рукой.
Что слабостям он нас подвергнул, всякой тужит,
Но недостаток сей ко общей пользе служит.

Он дал девицам стыд, спесь с важностью женам,
 Министрам страх, и жар с отважностью вождам,
 Властям дал гордой дух и спесь высокомерну,
 Народу простоту к обманам легковерну.
 Он добродетелей плод может произвести,
 Из тщетной склонности тех, кои любят честь;
 Ни награждения, ни пользы не желая,
 Но суетной хвалы одной снискать жадая.
 Спокойство, радость, честь он нашу утвердил,
 На заблуждениях и недостатках сил.

...

Какой бы страстию плененны мы ни были,
 Премудрость, славу ли, богатство ль возлюбили;
 То склонности своей оставить не хотим,
 Чтоб следовать тому, что нравится другим.
 Ученый токмо в том щитает дни блаженны,
 Чтоб тайны естества изведать сокровенны.
 Глупец щастливее быть мнится для того,
 Что он и имени не знает своего.
 Богатой, на мешки свои смотря, ликует,
 И нищий на судьбу не часто негодует.
 Слепые пляшучи ногами в землю бьют,
 Хромые песенки с веселием поют.
 Безумный думает, что он Царем народа,
 И пьяной мнит, что он великой Воевода.

...

Честное мнение всем о своей охоте
 Как общий друг дано по Божеской щедроте.
 Какого б возраста, каких кто лет ни был,
 Нет, кто б чегонибудь на свете не любил.
 Надежда всякой час последует за нами,
 И при конце она стоит перед глазами.

...

Познай, что все добро, которым человек
 Здесь может в временной сей наслаждаться век;
 Все то, что сам Творец и щедрая природа
 Приготовила к веселию народа;
 Все те приятности, что мысли веселят,
 Все сладости в сих трех вещах лишь состоят:
 В потребах жития, во здравии телесном,

По том в спокойствии надежном и нелесном.
Чрез воздержание мы можем здравы быть,
Чрез добродетели спокойство получить.
Благия щастия всем получить возможно,
И добродетельно живущим и безбожно;
Но сладость сих благих тем меньше есть вкуса,
Чем больше мерзостью чья мысль заражена

(Поповский 1787, 30, 34, 39, 40–42, 65).

Разумеется, приведя здесь выборку из «Опыта о человеке», сделанную Карамзиным отнюдь не для своего литературного журнала, адресованного одновременно нескольким читательским группам, а для одного названного выше читателя, и не на рубеже 1790 и 1791 гг., а в 1811 г., мы вовсе не хотим сказать, что восприятие Карамзиным поэмы Поупа за двадцать лет не изменилось.

Но, во-первых, об этих изменениях мы почти ничего не знаем и можем лишь предполагать, в меру нашего понимания духовной биографии Карамзина, некоторую его эволюцию от религиозно-метафизического оптимизма Поупа (соображения о характере карамзинского восприятия этого оптимизма см. Галахов 1858) к более хладнокровному, чтобы не сказать скептическому, взгляду на человеческую природу, при том что ниоткуда не следует, что эволюция эта носила по-настоящему радикальный характер. Но, по крайней мере на рубеже 1790 и 1791 г., когда для «Московского журнала» Карамзин выбирает эпитафию из Поупа, прямо указывая тем самым на *основной* контекст своего издания, между Поупом и Херасковым – автором аллегорических романов, а также между Поупом и Карамзиным, обнаруживается принципиальная идеологическая общность: подобно английскому поэту, они в целом оптимистически истолковывают возможный исход сложнейшей борьбы добра и зла / разумных побуждений и стремления к порочным удовольствиям в человеческой душе, сопresentствующих в ней как отражение мировой мистерии. Содержание выборки 1811 г., как минимум, никоим образом не противоречит тому, что нам известно о мировоззрении Карамзина в период издания им «Московского журнала».

Во-вторых, повторим, никаких иных источников, которые позволили бы нам уяснить карамзинское понимание этой поэмы и осмыслить эпиграф к «Московскому журналу» в соотнесенности с ее содержанием, у нас нет.

Здесь не место обсуждать поэму Поупа как идеологическое целое; но и приведенного фрагмента достаточно для того, чтобы оценить сложность ее проблематики: связь и взаимодействие души и тела, разума и воображения; страсти и время; жизнь и смерть; реальность и мысленное зрение; порок и добродетель; двойственность человеческой природы, неизбежность, смысл и цель внутренней борьбы, благодать Творца – вот неполный перечень тем, которые Поуп связывает с «удовольствиями», взыскуемыми человеком, и избранный Карамзиным стих «Опыта о человеке» отсылает ко всей сложной их совокупности.

Но темы эти, в силу их универсальности, естественным образом проецируются в план содержания «Московского журнала», оказываясь активным фоном *всех без исключения* помещенных в нем пьес, и одновременно связывают эти пьесы со смысловым пространством *всей* европейской литературной традиции, включая эзотерику, к которой Поуп имел самое непосредственное отношение, и той частью русской литературы, в том числе масонской, которая вслед за Ломоносовым и Поповским осмыслила «Опыт о человеке» как один из ключевых концептуальных текстов, представляющих образцовые и в полной мере актуальные интерпретации духовных возможностей человека.

С помощью этого эпиграфа Карамзин добивается нужного ему эффекта: указав на Поупа как на ближайший ориентир своего журнала, он демонстрирует отсутствие конфликта между поэзией и масонской мистической литературой, в равной мере заинтересованных в проблематике, обсуждавшейся Поупом.

В контексте сложных, но в любом случае отнюдь не антагонистических взаимодействий Карамзина с этими культурными контекстами и должна рассматриваться его рецензия на роман Хераскова «Кадм и Гармония», занявшая значительную часть первого номера «Москов-

ского журнала» (Карамзин 1791а) и, в принципе, соответствовавшая тогдашним представлениям об этом жанре²⁵.

В сущности, роман этот не был литературной новостью: он вышел в свет еще в 1789 г.²⁶ (данные о более ранней, с отнесением к

²⁵ И во времени Карамзина, и много позднее, во времена Жуковского и Пушкина, рецензии данного типа выглядели так: обширные выписки из рецензируемого сочинения сопровождалась краткими и обычно не стремящимися исчерпать имеющийся материал библиографическими справками, столь же краткими замечаниями аналитического или оценочного характера, иногда ссылками на мнения древних и новых поэтов, знатоков, единомышленников или противников автора и упоминаниями других его произведений. Такие рецензии в позднейшие времена могли восприниматься как «пустые», сводящиеся преимущественно к информированию читателей о выходе такой-то книги, представлению ее текста и демонстрации литературно-идеологической позиции автора или рецензента. Между тем, по крайней мере если речь идет о литературных критиках (или поэтах, выступающих в этой роли), претендующих на серьезное влияние и при этом обладающих вкусом, необходимыми познаниями и склонностью создавать сложные подтексты, подобное прочтение их литературно-критических выступлений во многих случаях оказывается недостаточным и даже неверным или наивным – и сразу по нескольким причинам. Первая: они адресуют свои тексты столь же изощренным знатокам, как они сами, и исходят из того, что данная читательская группа не нуждается в подробных разъяснениях, поскольку привыкла «разгадывать» нетривиальные историко-литературные построения, умеет читать «между строк» и всегда внимательна к деталям; прочие читательские группы для подобного рода авторов представляют интерес в двух отношениях: ими можно манипулировать, чтобы оказать воздействие на власть, на общественное мнение в целом, на его отдельные сегменты; эти группы можно вовлекать в пространство интеллектуальных игр, распространяющихся не обязательно только на литературу, но и на идеологию, политику, историю и при этом различных по длительности, конечному целеполаганию, сложности. Вторая: любая подборка цитат всегда двусмысленна в том отношении, что она характеризует не только автора произведения, из которого они выхватываются, но и того, кто их выхватывает, а сей последний, при наличии соответствующих навыков, без особого труда превращает цитирование в способ непрямолинейного выражения собственной точки зрения. Третья: смысл цитатной конструкции уточняется не только за счет ее соотносительности в пределах рецензии с оформляющим ее авторским словом, но и за счет включенности в целое конструкции того номера журнала, в котором она печатается (в пределе – и всех вышедших и даже последующих, если их содержание уже известно). Четвертая: автор такой рецензии, если он стремится оказать серьезное влияние на литературное пространство, никогда не «раскрывается» до конца, понимая, что для этого предназначены иные, более серьезные жанры, и учитывая особенности момента, соизмеряя тактику и стратегию и т.д. Соответствующим образом, для того чтобы всерьез обсуждать один такой текст, в том числерецензию Карамзина на роман Хераскова «Кадм и Гармония», которая нас здесь занимает, невозможно обсуждать только ее, поскольку ее смысл оказывается точкой пересечения многих и разных, но всегда взаимосвязанных культурных контекстов и опирающихся на них механизмов смыслопорождения.

²⁶ Ср., впрочем, точку зрения П.Н. Беркова, который считал, что «Кадм и Гармония» «к началу 1791 г. не утратил еще характера литературной новинки» (Берков 1952, 510). Вероятно, Берков ориентировался на М.П. Погодина, который в своей краткой характе-

1786 г., публикации романа [см.: СК, 3, 333], до сих пор не были подтверждены и, скорее всего, являются ошибочными) и, не исключено, был полностью или частично известен Карамзину еще до начала его путешествия²⁷.

Но, во-первых, такого рода «отставание» литературной критики от литературы в XVIII в. было делом обычным, а во-вторых, рецензия на «Кадма» была нужна Карамзину, поскольку должна была стать одним из существенных элементов сложно выстроенной им тактики, один из важнейших аспектов которой – смягчение обозначившегося антагонизма с московским масонством.

Это можно было сделать, только заручившись поддержкой масонов-литераторов, и прежде всего именно Хераскова, с которым Карамзин был связан давно и которого воспринимал как по-настоящему крупного современного поэта.

Далее, нужно было заявить литературную позицию, которая, с одной стороны, отражала бы его действительные представления о том, какой должна быть изящная словесность, а вместе с тем демонстрировала бы наличие у него общих тем, подходов, элементов картины мира – если не со всем масонским кругом, то, по крайней мере, с той его частью, которая не чуждалась занятий изящной словесностью и понимала ее воспитательное значение.

Разумеется, Карамзин не собирался кривить душой, мистифицировать среду, которая его хорошо знала и к которой он отнюдь не питал вражды, или, тем более, в статье о Хераскове хвалить его, одновременно иронизируя над ним или, так сказать, *уравновешивая* его достоинства и его недостатки, чтобы продемонстрировать похвальную непредвзятость. Во-первых, такого рода игры, достойные мелких литературных интриганов или людей, наделенных специфической «легкостью в мыслях», были не в характере Карамзина; во-вторых,

ристике рецензии Карамзина назвал роман Хераскова «только что вышедшим» (Погодин 1866, 1, 174).

²⁷ Во всяком случае, письмо его к Дмитриеву от 18 мая 1788 г. свидетельствует о том, что он обладал какими-то восходящими непосредственно к Хераскову данными о ходе подготовки романа к печати: «Не скоро еще М.М. Херасков отдаст в печать своего Кадьма <так!>, как я от него слышал; и так обещав вам скоро доставить сие сочинение напечатанное, я вас обманул, быв сам обманут» (Карамзин 1866, 7).

даже если допустить такую возможность, придется признать, что он не обладал достаточным количеством единомышленников, которые могли бы оценить эту игру; в третьих, Херасков не дал для серьезной борьбы с ним ни малейшего личного повода; в-четвертых, повторим, Херасков мыслился Карамзиным-журналистом и альманашником не как противник, а как союзник первостепенного значения.

Итак, посмотрим, что же именно писал Карамзин в своей рецензии и как именно он выстраивал литературные отношения с Херасковым.

Прежде всего Карамзин заявил о том, что «Кадм и Гармония» – литературное событие, которое должно привлечь внимание всей читающей публики: «Сие творение должно по справедливости возбудить внимание всех, любящих российскую литературу». Это первая фраза рецензии. Именно так: новый роман Хераскова не есть событие кружковое, групповое и т.д., а общелитературное. Эту же мысль Карамзин повторит ближе к концу: «Довольно. Из сих приведенных мест можно видеть, что Кадм есть творение, достойное всего внимания читателей». Впрочем, он не просто повторяется, он предельно усиливает исходный тезис: сначала он говорит, что *все* должны или будут читать книгу Хераскова, потом – что она потребует от этих *всех* *всего* их внимания. Подобная постановка вопроса практически беспрецедентна в русской журнальной критике.

Далее, обсуждая Хераскова и прекрасно понимая, что рецензия его будет внимательнейшим образом прочтена в масонском кругу, Карамзин уточнил и заострил свою позицию, опираясь на общеизвестный текст Горация и в очередной раз явным образом адресуясь к тексту объявления о выходе «Московского журнала»:

Философ не-Поэт пишет моральные диссертации, иногда весьма сухие, Поэт сопровождает мораль свою пленительными образами, живет ее в лицах, и производит более действия. Таким образом Сочинитель Кадма хотел в привлекательной мифологической одежде сообщить *свои* нравоучения, политические наставления и понятия о разных вещах, важных для человечества; учить нас, так сказать, непрямо, питая наше любопытство приятным повествовани-

ем вещей чудесных – одним словом, он хотел написать нам второго Телемака

(Карамзин 1791, 80–81).

В сущности, здесь сказано следующее: *непоэтической философии, моральным диссертациям, иногда весьма сухим (теологическим, мистическим, слишком ученым, педантическим, сухим пьесам)* эта вся читающая публика, мобилизующая все свои способности, может и даже должна предпочесть *второго Телемака*, то есть философию под *мифологической одеждой* и в форме *приятного повествования о вещах чудесных*.

Это был еще один, в дополнение к данному в предисловии к первому номеру, ответ на критику, доносившуюся из кружка Кутузова и Трубецкого, ответ своеобразный и в каком-то смысле сокрушительный.

В самом деле, Карамзин повторно и уже на страницах того самого журнала, который, по мнению этого кружка, он не должен был издавать, заявил свою позицию и сделал это именно в комплиментарной рецензии на роман Хераскова, который «братьям» был интересен, конечно, не как текст поэтический, а как философский, мистический, моралистический.

Выходило, что не кто иной, как Херасков уже в каком-то смысле реализовал – и не в теоретических декларациях, а в самом своем творчестве – именно ту точку зрения, которая была высказана Карамзиным и вменена ему в вину его масонскими критиками.

Но, выстроив всю эту ситуацию столь благоприятным, если не победительным, для себя образом, Карамзин вряд ли мог этим ограничиться: если он начал объясняться, он должен был объясниться по существу вопроса. Итак, *моральные диссертации* отвергнуты ради приятного повествования как облачения для философии. Но тогда нужно понять, каковы концептуальные основания подобной постановки вопроса.

Это было разъяснено тут же и опять в завуалированной форме, внятной для посвященных и отнюдь не прозрачной для остальных: последовало рассуждение о *повести и поэме*, отсылавшее к представ-

лениям об организации литературного текста, выходявшим за пределы школьной риторики:

Почтенной Автор в предисловии своем говорит, что Кадм его есть не *Поэма*, а *простая повесть*; но когда повесть есть не история, а вымысел, то она, кажется, есть поэма – Эпическая или нет, но все Поэма – стихами или прозою писанная, но все Поэма, которая по общепринятому понятию на других языках означает всякое творение вообразительной силы. Таким образом Комедия, Роман есть Поэма.

(Карамзин 1791, 81).

Карамзин здесь обыгрывает семантическую смежность понятий «эпос», «повесть», «поэма», понимая, что у него есть все основания в этом опереться на традицию²⁸. Другое дело, что отказ от признания иерархии поэзии и прозы («все поэма – стихами или прозою писанная») мог восприниматься как существенно менее тривиальный, хотя и не вполне оригинальный: в какой-то мере Карамзин учитывал текст предисловия Хераскова к «Кадму и Гармонии»²⁹.

²⁸ Ср., напр., у Баттё: «Слово *Эпопея*, взятое в величайшей его обширности, свойственно всякому Пиитическому повествованию, и следовательно самой малейшей басни Езоповой; *ёлос* значит *повествование*, а *поёш делаю, вымышляю, творю*. Слово *Эпическая поэма* имеет, как видно, одинаковый смысл и происхождение» (Батте, 2, 212; ср.: Батте, 1, 265); ср. еще опыт разграничения «поэмы» эпической и драматической у Роллена: «Поэма разделяется обыкновенно на Эпическую и Драматическую. Первая состоит в повести, и в ней говорит Стихотворец. Вторая содержит действие представляемое на театре, так что Стихотворец влагает речь в уста тех особ, кои на оном показываются. <...> К роду Эпической поэмы ... относятся многообразные виды поэмы: Идиллии, Сатиры, Оды, Эпиграммы, Елегии, и проч. а поэма драматическая заключает в себе трагедию и комедию» (Роллен 1789, 2, 249–250; ср.: Роллен 1749–1762, 5, 75–76).

²⁹ Ср.: «<...> думаю, что сам Фенелон чувствовал, что его Телемаку свойственнее проза, нежели стихи; но и в прозе его вся важность и сладость высокого стихотворства погруженна; почему несомненно уподоблять можно творца Телемака высочайшим пиитам. Не одни стихи, но наипаче изобретения, естественность, украшения, привлекательность слога, убедительное нравоучение и остроумие стихотворца составляют» (Херасков 1789, 1, VII). В этом пункте своих рассуждений Херасков вполне сходился с Третьяковским, который назвал роман Фенелона «четвертою Эпопиею» (после двух эпопей Гомера и одной Виргилия) (Третьяковский 1766, XII). На противоположном от Карамзина и Хераскова полюсе в этом вопросе оказался Н.И. Николев, со всей определенностью заявивший свою позицию в примечаниях к «Лиро-Дидактическому Посланию»: «<...> многие прозописатели бесчисленными томами старались доказать, что *поэзию* составляет единое богатство мысли и воображения, устами или пером выраженных, что с пламенным воображением

Но гораздо важнее, что отказ этот вполне соответствовал логике самого Карамзина: если в качестве базового выдвигается разграничение истории и вымысла, противопоставление поэзии и прозы *на этом* смысловом уровне неизбежно предстает как несущественное, ясно, что и та, и другая равно подвластны «вымыслу», «вообразительной силе».

Подобная постановка вопроса опиралась, в частности, на широко известные рассуждения Сен-Мартена об «умственных произведениях», ср.:

Сии произведения, какого б роду они ни были, мы можем разделить на два отделения, <...> потому что во всем, что существует, есть или умное, или чувственное, и все, что человек может произвести, имеет целью которую нибудь из сих двух частей. В самом деле, все, что люди ежедневно выдумывают и производят в сем роде, состоит в том, чтоб научить или тронуть, рассуждать или возбуждать чувствительность <...>.

К первому отделению отнесем все творения рассудка <...>.

Ко второму отделению отнесем все то, что имеет целью сделать впечатления в сердце человеческого, какого б роду они ни были, и тронуть его, каким бы то образом ни было.

Хотя на два отделения расположил я словесные произведения умных способностей человека, не забываю <...>, что они имеют многие ветви и разделения как по числу разных вещей, подлежательных

прозаписатель есть *поэт*, а потому *Телемак* и оному подобные сочинения суть *эпические поэмы*; но я <...> согласуюся токмо с теми, кои прозу с стихотворством не смешивали и не смешивают» (Николев, 3, 147). См. также иронические замечания в «Зрителе» А.И. Клушина и И.А. Крылова об усыпляющих читателей «рифмопрозаическом» «Отставном вахмистре И.И. Дмитриева» и «рассуждении о поэмах <...>» в примечании на <“>К.<адма> и Г.<армонию><”>» (Зритель. 1792. Ч. 2. Июнь. С. 158). Эпистолярные отклики Карамзина на послание Николева, в первой редакции озаглавленное иначе и не имевшее еще примечаний (Николев 1791), и на выходку «зрителей» см.: Карамзин 1866, 20, 28. Опыт прямой и обстоятельной полемики с Карамзиным (при общей высокой оценке его рецензии) см.: Писарев 1804, 144–148; ср.: Сиповский 1903, 244–245. Через несколько десятилетий позиция Карамзина покажется более приемлемой: Белинский назовет романы Хераскова «поэмами в прозе» (Белинский 1843, 29), а Гоголь, подзаголовком «Мертвых душ», окончательно закрепит жанровый парадокс Карамзина в русском культурном сознании (ср.: Морозова 1989). Ср. еще замечание о «поэмах в прозе» Хераскова у Жуковского: «Il a écrit aussi des poèmes en prose, toutes aussi faibles que ses productions en vers» (Жуковский, 12, 353).

нашему рассуждению, так и по множеству оттенков, которые могут быть в наших чувствованиях.

Не вступая в исчисление их, <...> мы можем взять в рассуждение главную токмо ветвь каждого отделения и которая есть первая по ряду, как на пример, в вещах подлежащих рассуждению Математику; а Поезию в тех, которые относятся к чувственной способности человека. <...>

И так обращаюсь <...> к Поэзии, яко к превосходнейшему произведению способностей человека <...>.

<...> Язык <поэзии> не зависит от тех общеупотребительных правил, в которых у разных Народов условились люди заключать свои мысли. Кому не известно, что сие есть следствие ослепления их, что они вздумали сим средством умножить красоты, а вместо того отяготили себя трудом, и что сие чрезмерное наблюдение правил, которым порабощают нас в намерении тронуть телесную нашу чувствительность, тем паче умаляет истинную нашу чувствительность

(Сен-Мартен 1785, 485–489).

Как известно, книга Сен-Мартена «О заблуждениях и истине» сыграла исключительно важную роль в идеологии московских масонов³⁰ и была хорошо известна Карамзину³¹. Поэтому приведенный нами отрывок может рассматриваться если не как прочно и безусловно ими усвоенный и принятый как безусловная истина, но во всяком случае как хорошо им памятный и авторитетный. Соответствующий фрагмент рецензии Карамзина не содержит прямых отсылок к данному тексту Сен-Мартена, и вместе с тем не только не противоречит ему, но и в некоторых отношениях с ним пересекается.

Во-первых, подобно Сен-Мартену, Карамзин исходит из противопоставления двух групп «словесных произведений» – ориентированных на разум и апеллирующих к чувствам; разум требует твердо

³⁰ Ср.: «Первые <...> книги, родившие во мне охоту к чтению духовных, были: Известная “О заблуждениях и истине”, и Арндта “О истинном христианстве”» (Лопухин 1860, 20).

³¹ О Сен-Мартене, его книге и его русских последователях и знакомствах: Лонгинов 1867, 74–76, 159–160, 179; Ешевский, 3, 427–428, 431–432; Пыпин 1916, 118, 141–142, 147, 210–218, 275. Об отношении Карамзина к Сен-Мартену см. в т.ч.: Лотман 1981, 109–111, 114, 121.

установленных фактов («история») и доказательств («математика»), чувства – «красот» и поэтического «вымысла» («поэзия»).

Во-вторых и вместе с тем Карамзин, вслед за Сен-Мартеном, теоретически обосновывающим ненужность «общеупотребительных правил» школьной поэтики, «уமாляющих» «истинную чувствительность», демонстрирует, как нечто само собою разумеющееся, готовность поступать соответствующим образом; во всяком случае в «поэме» о поэме и повести Сен-Мартен оказывается «союзником» не столько Хераскова, сколько Карамзина.

Возьмем теперь к словам его о «вообразительной силе»: это понятие заслуживает специального обсуждения, поскольку указывало в сторону некоторых не просто внятных масонской среде интеллектуальных конструкций, но и имевших для нее вполне обязательный характер. Здесь ограничимся выдержкой из масонского журнала, составившегося в новиковском кружке и печатавшегося в типографии И.В. Лопухина:

Не должно судить о Масонском обществе ни по их таинствам, ни по их языкам, обрядам и изображениям. Человеки суть существа чувствительные, допускающие управлять собою посредством живых впечатлений вообразительной силы лучше, нежели посредством хладных заключений рассудка. Разумный только чувствует силу заключений сих, и если не питают оне купно и вообразительную силу, то бывают часто сухи и безпрелестны. Не редко должно даже брать прибежище к тем спасительным предрассуждениям, толико власти над сердцем человеческим имущим, что заступают оне место и самых законов и добродетелей. Древние жрецы Изисы и Елевзинской Цереры употребляли изображения, фигуры, и суеверные обряды для исправления пороков и злоупотреблений

(Магазин свободно-каменщический. 1784. № 1. С. 34).

Итак, с понятием о «вообразительной силе» связана концепция влияния на «человеков», опирающаяся на представление об их «чувствительности», которая требует не «хладных заключений рассудка», не ученых, педантических, слишком сухих «сочинений, не мо-

ральных диссертаций, а понимания ее специфики, возможностей и потребностей.

Так фраза из объявления о «Московском журнале», вызвавшая негодование московских масонов, обрела концептуальную опору именно в масонской литературе, и вместе с тем оказалась теснейшим образом связана с фундаментальными основаниями эстетики Карамзина³².

А тем читателям, которые не понимали этот более или менее специфический подтекст (или не придавали ему значения), предлагалось воспринимать текст Карамзина только в его буквальном смысле.

Что они могли увидеть в этом тексте, кроме рассуждения о *поэме*, которое каждый из них волен был оценить как оригинальное или странное, не вполне внятное или даже неправильное и т.д.?

Прежде всего и, быть может, только, но с полным основанием, – очередной комплимент Хераскову.

В самом деле: автор романа заявляет, демонстрируя благоразумную скромность, что этот роман его всего лишь «простая повесть», не претендующая на статус «поэмы». Рецензент не соглашается с автором и разъясняет ему, что эта «повесть» все-таки «поэма», то есть что он, автор, преуменьшил ценность своего создания. О сей последней чуть ниже говорится: «В сем сочинении найдет читатель, кроме рассуждений, прекрасные поэтические описания, любопытные завязки, интересные положения, чувства возвышенные и трогатель-

³² Разумеется, цитата из журнала 1784 г., которую мы привели, не была чем-то уникальным: напротив, есть все основания считать, что речь идет о вполне устойчивой конструкции, причем задолго до «Московского журнала» включенной в литературный контекст. Так, например, М.Н. Муравьев, размышляя о Ломоносове в новиковском журнале «Утренний свет», выдвигал именно эту категорию: «Какою живостью одушевлено выражение *Ломоносова!* Каждое являет знаменование изобильнейшего и приятного воображения. Вот, чем превзойдет он всех своих последователей в Лирическом роде! Слог его дышет и там, где заблуждается, может быть, рассуждение или воображительная сила худо избирает свои картины» (Муравьев 1778, 370; данный фрагмент заметки Муравьева неоднократно цитировался Н.Д. Кочетковой, см. в частности: Кочеткова 1962, 273). Не менее существенным представляется то обстоятельство, что словосочетание «воображительная сила» вошло в эпистолярный и, видимо, кружковый язык московских масонов, хорошо известный Карамзину (см., напр. в письме А.М. Кутузова к И.П. Тургеневу от 7/18 апреля 1797 г.: «Я знаю твое сердце и твою воображительную силу, они да скажут тебе, что происходило в душе моей <...>» [Лотман 1968, 369]).

ные, обороты свободные и натуральные; слог же всегда приятен и возвышен без надутости».

Однако в числе этих «наивных» читателей находились и те, кто, не питая особого интереса к масонской мистике, счел нужным откликнуться на декларированный Карамзиным отказ от слишком последовательного разграничения поэзии и прозы.

Одним из них оказался Державин, благосклонный не только к Карамзину, но и к Хераскову, которого через какое-то время выведет из-под удара правительственных репрессий, воспользовавшись покровительством П.А. Зубова. Через Дмитриева он переслал к Карамзину для публикации в его журнале свое стихотворение «Прогулка в Царском селе» (Карамзин 1866, 20), в котором, обыграв постановку вопроса в обсуждаемой здесь рецензии, заявил о Карамзине как о поэте в прозе: «Пой, соловей! – и в прозе / Ты слышан ... <Карамзи>н» (Державин 1791, 127; датируется маем 1791 г.: Державин, 1, 423 [примеч. 1]; в позднейшей редакции: «Пой, Карамзин! – и в прозе / Глас слышен соловьи» [Державин, 1, 427]).

Карамзин же, заявив свою позицию по вопросу о границах поэзии и прозы / романа и поэмы, следовал ей и в дальнейшем; ср., напр., в рецензии на первый том перевода «Неистового Роланда»: «Только жаркий климат Италии мог произвести такого *романиста*, каков был Ариост. Читая его *Поэму*, не лзя не удивляться неистощимости его воображения <...>» (Московской журнал. 1791. Ч. 2. Кн. 3. С. 322; курсив мой).

Вернемся к тексту рецензии Карамзина. Далее он приводит некоторые фрагменты «Кадма и Гармонии», призванные, по мысли рецензента, дать представление не только о содержании книги, но и об ее идеологии.

Готовность Карамзина обсуждать эту идеологию имела некоторый дополнительный, а ему самому, возможно, представлявшийся исключительно важным, смысл: это делалось в условиях, когда московские масоны испытывали все более сильное давление со стороны кн. А.А. Прозоровского, в январе 1790 г. назначенного московским главнокомандующим и внимательно надзиравшего за теми, кого воспринимал как носителей разрушительных идей (см. об этом: Лонги-

нов 1867, 300–311; Боголюбов 1916, 407–408). Херасков не был исключением: пройдет время, и в 1792 г. Прозоровский назовет его в числе злонамеренных лиц, группировавшихся вокруг Новикова (Боголюбов 1916, 439). Разумеется, в начале 1791 г. еще никто не знал, что внимание властей выльется в конце концов в арест Новикова и вполне серьезное расследование его деятельности, но никаких иллюзий на счет того, что отношение к ним императрицы Екатерины II может измениться к лучшему, московские масоны не питали.

В этих условиях демонстративный отказ Карамзина от сотрудничества с ними был воспринят, по крайней мере на первых порах, как предусмотрительность, граничившая с малодушным отступничеством. 31 декабря 1790 / 11 января 1791 г. Кутузов отправляет кн. Н.Н. Трубецкому своего рода памфлет на Карамзина за подписью «Попугай Обезьянин», в котором иронически комментирует все то же объявление об издании «Московского журнала» и на разные лады иронизирует над готовностью незрелого сознания ограничить себя деятельностью, не требующей самосовершенствования. Этим он не ограничился, поделившись своей догадкой о том, что отказ Карамзина печатать статьи московских розенкрейцеров обусловлен, помимо всего прочего, позицией властей: «Я совершенно с вами согласен, – пишет Обезьянин к издателю “Московского журнала”, – <...> что таковыя сочинения не должны быть терпимы в благоустроенном государстве <...>» (Барсков 1915, 73)³³.

Независимо от того, знал Карамзин об упреках такого рода или нет, он должен был выбирать стратегию поведения, прекрасно понимая, что именно происходит вокруг московского масонского кружка.

³³ Примерно через месяц всякая почва для такого рода намеков и догадок должна была исчезнуть: стало известно, что Карамзин в таком же подозрении у Прозоровского, как и остальные, ср. в письме И.В. Лопухина к А.М. Кутузову от 3 февраля 1791 г.: «Ты спрашиваешь меня, любезный друг, о Карамзине. Еще скажу тебе при сем о ложных заключениях здешнего главнокомандующего. Он говорит, что Карамзин ученик Новикова и на его иждивении послан был в чужие края, мартинист и проч. Возможно ли так все неверно знать, при такой охоте все разведывать и разыскивать, и можно ли так думать, читая журнал Карамзина, который совсем анти того, что разумеют мартинизмом, и которого никто более не отвращал от пустого и ему убыточного вояжу, как Новиков, да и те из его знакомых, кои слынут мартинистами? Карамзину хочется непременно сделаться писателем так, как князю Прозоровскому истребить мартинистов; но думаю, оба равной будут иметь успех; обоим, чаю, тужить о неудаче» (Барсков 1915, 89).

Никаких колебаний у него не было: об этом достаточно красноречиво свидетельствует сам факт публикации в первом же номере «Московского журнала» обсуждаемой здесь рецензии на Хераскова, в которой подает как литературную новость огромного значения давно напечатанный его роман, не скупясь на похвалы.

Теперь вернемся к идеологии «Кадма и Гармонии». Карамзин понимает, что поддержать Хераскова он может только демонстрацией его абсолютной лояльности к существующему порядку правления – и включает в свою рецензию огромный фрагмент, посвященный именно последнему:

Перевернем еще несколько листов, и послушаем рассуждение о разных образах правления. Кадм говорит в собрании Фессалийского народа, обращаясь к вельможам, хотящим установить Аристократическое правление.

«Мужи знаменитее, отцы <...> Фессалийского народа! я <...> не сомневаюсь, чтобы не истинная к вашему отечеству любовь побуждала вас поработить царство ваше <...> вашему чиноначальству. Вы находите образ такого правительства <...> удобнейшим и <...> полезнейшим; но помыслите, <...> коль дивный истукан на <...> престоле соорудить вы дерзаете! Вы предприимлете составить единый лик Царя из разных членов вашего общества; уничтожая Царя, царскую <...> мощь из раздробленных частиц слепить вы покушаетесь; <...> едва ли возможное предприятие! Слияние разных веществ в единую грудю редко <...> прочным телом бывает. Но ежели вы уповаете обрести <...> некое число ни в чем не разнящихся вельможей в их умоклечениях, образы мыслей никогда друг другу не противоречащих, чувств, воли и желаний к единой цели завсегда стремящихся <...>, устройте правление чиноначальственное! В противном случае вы многих мучителей, а не единогодушных отцов и защитников народных устройте.

При сих словах вельможи потупили очи свои, а народ возопил: *Не хотим, не хотим чиноначальственного вельможей правления! Да будет оно общенародное!* – Кадм, укротив восклицания <...>, речь свою простер тако: Ежели немногое число <...> вельможей ваших, о Фессалийцы! отечеству вредно: то каким злощастием угрожается <...> царство, всем народом управляемое? Вы заключаете в самом корне вашего намерения великое зло, день от дня возрастать могущее, и всю

Фессалию в бездну погибели низвергнуть долженствующее. Кто ваше благоденствие устроить будет? Вы сами! – Какому суду поработиться чаете? Собственному <...>! – Кто вами будет начальствовать, и кто начальникам <...> покоряться? Вы сами и начальниками и повинующимися быть долженствуете! – Станный образ правительства! <...> Вообразите, ежели бы земля наша, отвергнув солнечное сияние, сама себя освещать восхотела: в какой бы мрак она погрузилась? Ежели бы члены наши, отрехшись от назначенного Природою им долга, все <...> господствовать восхотели: долго ли бы тело наше в целости пребывать могло? Скоро бы оно разрушилось, а с ним и члены его купно бы погибли. Каждое царство есть целое тело, главу для управления и прочие члены для служения иметь долженствующее.

Выслушав речь сию, народ возопиял: *Законы, законы да управляют нами!* Тогда Кадм вещал: Законы сами собой управлять и действовать не могут <...>. Законам потребна деятельность; деятельность относится к судам и народным попечителям; попечителям и судьям нужна глава выше законов поставляемая, могущая охранять святость законов, <...> общее благосостояние, ненарушимость <...> судопроизводства, <...> добро от зла, истину от коварства, тщательность от лености отличать могущая, и наконец верность и заслуги в отечестве награждать, а нерадивость пробуждать долженствующая. Сия-то глава есть Царь самодержавствующий подданными. О Фессалийцы! почто не избираете Царя самодержавного; Царя, который бы имея в своих руках вожди правления, управлял народом по законам, из самого естества и ваших склонностей предками вашими почерпнутым, или для <...> общего блага вновь установленным? Устраивая ваше благо, мудрый Царь собственное сооружает благо; разрушая общее, собственной гибели поспешествует. Мы имеем во всей вселенной <...> знак единоначальства <...>: не один ли Зевс небом, землей и всеми <...> божествами верховно управляет? Не единое ли солнце обращает круг небесный с его прочими светилами? Не едину ли главу мы имеем, члены наши в стройном порядке содержащую? – Вельможи и граждане! <...> советую вам, отвергнув все роды других правлений, избрать Царя, и вы паки благоденствовать будете». – Кто не почувствует убедительности сих рассуждений?

(Карамзин 1791, 84–89).

В отношении к политической идее, выраженной в этой выписке из Хераскова, у Карамзина не было с ним расхождений, ср., напр.,

в «Записке о древней и новой России»: «Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спаслась мудрым самодержавием» (впервые: Карамзин 1837, 97). Но идея эта не была, конечно, только их достоянием: на ней было основано все здание государственной идеологии екатерининской эпохи и, шире, всего имперского периода истории России. Более того, идея просвещенной монархии была неотъемлемой частью идеологии русского и европейского абсолютизма и неоднократно обсуждалась как европейскими философами, литераторами, публицистами, так и Екатериной II в целом ряде ее сочинений, оригинальных и переводных, и писем.

Особое значение в этом корпусе занял перевод романа Мармонтеля «Велизарий» («Bélisaire», 1765), который может рассматриваться как один из наиболее важных источников культурного языка русского имперского Просвещения. Как известно, этот роман был переведен на русский язык Екатериной II и ее приближенными во время известного путешествия по Волге в конце апреля – первой половине июня 1767 г. и менее чем через год был напечатан (Мармонтель 1768; об авторах перевода подробнее: Кульматова 2010, здесь же основная литература вопроса). Второе издание этого перевода последовало через пять лет (Мармонтель 1773), а третье было выпущено в свет Н.И. Новиковым и той самой Типографической компанией, которая к этому времени уже попала под подозрение верховной власти (Мармонтель 1785).

Приведенная только что – вслед за Карамзиным-рецензентом – обширная выписка из «Кадма и Гармонии» содержит отсылки к этому роману, который выполняет роль своеобразного интеллектуального «фона», причем активного – в том смысле, что обращение к нему помогает понять смысл херасковских деклараций.

Херасков, в процитированном Карамзиным фрагменте: «Устроив ваше благо, мудрый царь собственное сооружает благо; разрушая общее, собственной гибели поспешествует». Девятая глава романа Мармонтеля, переведенная Екатериной II, содержит пассаж, разъясняющий это положение:

Закон есть соглашение соединенных хотений в одно: следовательно, власть его есть содействие всех сил государства. Напротиву того, воля одного, когда она несправедлива, имеет против себя те же самые силы <...>. И так, чтобы угнетать одну часть народа, делается он невольником другой <...>. И так, поколику власть клонится к тиранству, потолику она ослабевает и подвергается зависимости <...>. Но когда власть сходствует с законами, то одним законам она и повинуетя. Она основана на воле и силе целого народа. <...> Государь в соединении с своим народом богат и силен всеми богатствами и силами своего государства

(Мармонтель 1785, 115–118).

Херасков, его круг³⁴ и в том числе и прежде всего Карамзин³⁵ были в числе искренних поклонников «Велизария» (как и творчества Мармонтеля в целом), и демонстрация зависимости от него «Кадма и Гармонии» на идейном уровне, осуществленная Карамзиным, не была просто ловким тактическим ходом. И все же она, кроме идеологического, имела вполне актуальные политические аспекты: как известно, русское масонство привлекло к себе недоброжелательное внимание Екатерины II в тот момент, когда было осознано ею как форма самоорганизации представителей аристократических семей, стремившихся усилить свои политические позиции и возможности влияния на самодержавную власть. Херасков, противопоставляя аристократическому правлению самодержавное как единственно благое и единственно спасительное и, тем самым, обнаруживая готовность следовать актуальной идеологии власти, очерчивал общеобязательные границы того политического пространства, за пределы которого не должна была выходить политическая борьба. Дополнительную остроту всей ситуации придавали выразительные детали бытования романа Мармонтеля во Франции и в России. Как известно, во Франции «Велизарий»

³⁴ См., например, комплиментарный отзыв Новикова о романе Мармонтеля и его переводе, осуществленном по инициативе Екатерины II: «О счастливый Писатель Велисария! ты увенчан был на нашем языке славою и честью, до каковья ни один Писатель еще не достигал! Твои успехи превзошли твои желания; и тебе не оставалось ни чего желать <...>» (Санктпетербургские ученые ведомости на 1777 год, № 11. С. 84).

³⁵ Об отношении Карамзина к Мармонтелю и о переводах из него см., в частности: Кафанова 1979; Кафанова 1989; Кафанова 2002.

был запрещен, и Екатерина с приближенными переводила его «почти в то самое время, когда подлинник этой книги жгли в Париже рукою палача» (Лонгинов 1867, 20). Это – основной культурно-идеологический и политический «фон» русского «Велизария», и на этом «фоне» русская императрица предстала как оплот разумного вольномыслия. «Фон» дополнительный, но по-своему не менее выразительный и важный для Карамзина-рецензента – прозвучавшее в 1789 г. требование архиепископа Казанского и Свяязского Амвросия запретить продажу и распространение переизданного Новиковым «Велизария» (см. об этом, напр.: Мартынов 1981, 128–129), косвенно задевавшее и Екатерину II, оказавшуюся на мгновение в крайне двусмысленной ситуации: русские церковные власти готовы были поступать с этим романом так же, как некогда с ним поступили французские, а на русскую императрицу неизбежно падала та же тень подозрений в религиозном и политическом вольномыслии, которую она сама простерла над Новиковым и его Типографической Компанией.

Итак, приверженность Хераскова к идеологии самодержавия зафиксирована его собственным текстом, опиравшимся, в частности, на перевод Екатерины II из «Велизария», и этот текст был предъявлен читателям в рецензии Карамзина как недвусмысленное свидетельство благонадежности автора.

Дальше, естественно, начиналось обсуждение более тонких и сложных вопросов, в том числе внешних и внутренних угроз самодержавному правлению, то есть революции и нравственной несостоятельности монарха.

Но прежде чем привести выдержки из «Кадма и Гармонии», касающиеся этой проблематики, Карамзин стремится завершить тему «поэт и власть», выдвигая другой ее аспект, не менее актуальный для Хераскова, и печатает фрагмент романа, посвященный уже не идеологии, а поэту, которого власти заподозрили в наличии у него предельных политических амбиций. Здесь выясняется, что поэт живет не политическими интригами, а «песнословием», и занятие это для него столь «сладостно», что подозрения «фессалийских вельмож» представляются ему заведомо неадекватными:

Песнопевец, убеленный временем, говорит вельможам <...>, подзревающим, что он через союз родства с Царем хочет присвоить себе верховную власть.

«Юность мою проводил я в учении; зрелые мои лета и старость мою посвятил я песнословию и славе богов моих <...> и знаменитых Героев. Привык я к сему Небесам любезному упражнению; и променяю ли ныне сии увеселяющие мои чувства восторги, сие безмятежное, но благочестивое прохождение дней моих – променяю ли на саны и преимущества вельможеские, с толикими беспокойствами и суетностями сопряженные <...>? О, нет, <...> не опасайтесь, дабы от природы сотворенный песнопевец, славитель богов и Героев, возгнущался влиянными ему дарованиями, и взалкал жаждою сиять паче на степенях верховного сана, нежели сиять чрез многие веки <...> славою! Такой песнопевец не был бы другом <...> богов, или был бы он дерзким похитителем сих священных дарований. Вам сладостны преимущества сана вашего, а мне сладостна моя лира. Может быть неважно для вас, о вельможи! мое песнопение; может быть и дарования мои в моем только понятии некоторую цену составляют: но для меня они важны и неоцененны, ибо они блаженство моей жизни соделывают. Оставьте мне мое малое жилище и убогие мои вертограды, <...> и не опасайтесь ни моего песнословия, ни алчности моей достигнуть высоких почестей в <...> царстве». – Вот язык Поэта, чувствующего свою цену!

(Карамзин 1791, 89–91).

Прочитовав данный фрагмент, фиксирующий исключительно близкие ему самому аспекты темы поэта³⁶ и вместе с тем в очередной

³⁶ Ср., в частности общую постановку вопроса об отношении поэта и мира, его окружающего, в послании «К бедному поэту» (1796): «Оставь другим венец: / Гордися, нежных чувств певец, / Венком, из нежных роз сплетенным, / Тобой от Граций полученным» (Карамзин 1797, 37). Ср. в статье «Нечто о науках, искусствах и просвещении» (1793), где выясняется, что не нужно быть поэтом для того, чтобы отринуть соблазны власти, достаточно просветить ум и душу науками и искусствами: «Все люди имеют душу, имеют сердце: следственно все могут наслаждаться плодами Искусства и Науки <...> – и кто наслаждается оными, тот делается лучшим человеком и <...> не позавидует счастию роскошнейшего Сатрапа» (Карамзин 1796, 71–72). Ср. еще о «славе» «чрез многие веки»: «Надежда жить в памяти людей утешает сердце. Все мы трудимся для бессмертия <...>. Но какие памятники могут сравняться с памятниками ума? Сколько великолепных чертогов, храмов и городов сокрылось во прахе ничтожества, с того времени, как Гомер первенствует между поэтами? <...> Но славные писатели живут в своих творениях и развешают искры ума в душах людей; время обновляет славу их» (Карамзин 1854, 7, 46).

раз отсылающий к актуальной политической ситуации, Карамзин приводит отрывок, представляющий «бунтовщиков», и вновь солидаризируется с Херасковым, соединяя очередной комплимент ему с указанием на нравственное потрясение, испытанное чувствительным рецензентом при чтении этих строк:

Там следует подробнейшее описание воинства бунтовщиков.

«<...> Кадм и воинство египетское узрело Амазисово ополчение, в Гегеенской долине расположенное. Густые пары, из блатной земли <...> исходящие, яко облако стан его покрывали. Воинство его развратные мятежники <...> составляли. <...> Непривычные ко сражениям, были они и в ратоборстве неискусны, но дерзновенны и неустрашимы; рамена их покрыты овчею <...> шерстью; бритые главы их, опаленные дубины, на их раменах лежащие, и короткие копья <...> придавали угрюмым видам их <...> ужас и отвратительную суровость. <...> Средину ополчения мятежнического составляли Мамелюки, народ дикий и кровожаждущий <...>. <...> Ими начальствовал Фрамор, <...> рыцарь неустрашимый и жестокий. Он превышал <...> главой всех <...> воинов; грабеж и кровопролитие составляли его утешение, а наглое убийство первое правило. <...>. Левое крыло воинства состояло из Амонитов, Моавлян, Ливийцов и других народов, из их жилищ Иудеями изжененных и прибежища <...> всюду ищущих. Лишенные отечества, с отчаянной лютостью на брань они дерзали...» – Какие энергические черты! Я вижу перед собой угрюмых Мадиямлян и диких, свирепых Мамелюков – вижу, зажимаю глаза и хвалю описателя.

(Карамзин 1791, 92–81).

Когда Херасков это писал, он вряд ли думал о приближающейся революции во Франции, но в момент публикации рецензии Карамзина данный фрагмент должен был восприниматься именно как отклик на французские события, уже принявшие необратимый характер. Приводя его, Карамзин решал, по-видимому, две задачи: во-первых, он с полным основанием демонстрировал контрреволюционный характер идеологии романа Хераскова, тем самым еще раз выставляя его в глазах власти в выгодном для него свете, а во-вторых он демонстрировал сочувственное отношение к подобной позиции не только

власти, но и тем московским розенкрейцерам, которые, настроенные, как и Херасков, контрреволюционно, заподозрили Карамзина в симпатиях к французской революции (быть может, в первое время после его возвращения не вполне обосновательно)³⁷.

После этого Карамзин, продолжая цитировать Хераскова, напоминает о внутренней сложности проблемы власти, приводя текст, который в полном соответствии с представлениями «века просвещения», базируется на противопоставлении «добрых» и «злых» царей; с последними связывается мотив абсолютного зла:

Диафан, главный Египетский жрец, показав Кадму место погребения добрых Царей, ведет его на другую сторону Меридова озера.

«Уклонясь в лево, грядут они между колючими тернами, и приближаются к пещере мрачной и каменистой. Там заключены были в гробницах <...> прахи Царей злочестивых и священного погребения <...> отчужденных. Никто не смел приближаться к <...> ужасному кладбищу; никто не дерзал приносить молений о душах сих мучителей, и никто не хотел о заслуженном ими осуждении сетовать. Там ехидны <...> извивались, и ядовитые скорпии пресмыкались <...>. – Диафан, остановясь при входе в пещеру, рек Кадму: Обрати очи твои ко десной стране, и тамо узришь погребательный сосуд, хранящий в себе прах злочестивого Тифона, лютого убийцы божественного Озирида; но священная Изиса, мстя смерть Озиридову, огнем истребила Тифона, сего врага богов и человек, и память его предана вечному проклятию. Зри, <...> страшные змии <...> изрыгают яд и пламень, да не отважится никто приступить к сему гнусному праху, коим

³⁷ Во всяком случае, на это указывает часто цитируемая фраза А.М. Кутузова из письма его к Н.И. Плещеевой от 4/15 марта 1791 г.: «Видно, что путешествие его произвело в нем великую перемену в рассуждении прежних друзей его. Может быть, и в нем произошла французская революция» (Барсков 1915, 99). Ясно, что Кутузов имел в виду прежде всего сферу личных отношений, в которой все переменялось так же внезапно, как и ситуация во Франции в момент переворота. Но этим смыслом его замечание не замкнуто и вбирает в себя какие-то аспекты вопроса о политических и идеологических мнениях Карамзина: в противном случае придется считать эту фразу о французской революции избыточной или необязательной, просто шуткой, тот, что не соответствует ни стилю этого письма, ни стилю поведения Кутузова, культивировавшего серьезное отношение к жизни и презиравшего светскую болтовню.

они питаются». – Удалимся и мы с читателем от сего ужасного места, и поищем чего-нибудь нежнейшего.

(Карамзин 1791, 94–96).

Одно из литературных произведений, образующих ближайший контекст данного фрагмента – упоминаемый в рецензии Карамзина роман Фенелона, в восемнадцатой части которого рассказывается о посещении Телемаком царства мертвых именно в связи с темой «злых царей», осужденных роком на загробные муки. Прежде всего здесь находим мотив забвения живущими тирана. Набофарзан, «царь гордого Вавилона» говорит Телемаку: «Но никто о мне не жалеет, дом мой гнушается, и не хочет имени моего вспомнати, а zde терплю жестокое мучение» (Фенелон 1782, 2, 51; в дальнейшем звучание темы у Фенелона усиливается: «Все ненавидят их, все прекословят им, и все смущают» [Фенелон 1782, 2, 55], правда, речь идет не о живых, а об обитателях царства мертвых). Другой, столь же предсказуемый мотив, – «бесконечность» (ср. у Хераскова упоминание о «вечных проклятиях») мучений, на которые они осуждены (Фенелон 1782, 2, 55). Третий – стремление героя покинуть адские пределы и чувство облегчения, возникающее у него, когда это происходит, ср.: «Когда Телемак из оного места вышел, чувствует себя облегченна <...>» (Фенелон 1782, 2, 57). Это место очевидным образом обыгрывает Карамзин, фактически уподобляясь Телемаку, когда прерывает цитату из Хераскова и заявляет о стремлении своем «удалиться» «с читателем от сего ужасного места». Четвертый: странствия Кадма по земле и Телемака по царству Плутона осуществляются на основе противопоставления пределов «царей злых» и «добрых» (при том, что в первом случае речь идет, естественно, об их захоронениях, а во втором – о местах их посмертного пребывания) – с той разницей, что Кадм переходит от «добрых» царей к «злым», а Телемак наоборот.

Теперь Карамзину необходимо осуществить переход к национальной теме: ценности и угрозы, о которых шла речь до сих пор, то есть самодержавие и поэзия с одной стороны и революция и монарх, избирающий зло, с другой, универсальны; настало время показать отношение Хераскова к России.

И Карамзин приводит его «пророчество» о России, которая должна благоденствовать в веках:

Славный в целом мире прорицатель, славный Тирезияс, два века человеческие уже преживый, шествовал из верхней Азии в Колхиду, и посетив гостеприимных Славян, возвестил им между многими частными прорицаниями о их потомстве, что они в грядущие времена на севере усилятся, приобретут громкую в мире славу, прострут свои победы от моря полунощного до вод полуденных, и нарекутся, под державой мудрого, кроткого и человеколюбивого правления, народом счастливым, сильным и просвещенным». – Кто из Россиян будет читать сие без удовольствия?

(Карамзин 1791, 97–81).

Это вполне сочувственное замечание Карамзина о патриотическом «удовольствии», которое должны были испытать «россияне», читая «Кадма и Гармонию», было адресовано не только бдительным властям. Оно естественным образом соотносилось с обвинениями самого Карамзина в антипатриотизме, звучавшими в масонской среде. Так, 20 февраля 1791 г. кн. Н.Н. Трубецкой, обсуждая Карамзина в письме к А.М. Кутузову, отмечал: «Касательно до общего нашего приятеля, Карамзина, то мне кажется, что он бабочку ловит и что чужие края, надув его гордостью, соделали, что он теперь никуда не годится. <...> Словом, он своим журналом объявил себя в глазах публики дерзновенным, между нами сказать, дураком» (Барсков 1915, 94–95). 4/15 марта Кутузов пишет о том же к Н.И. Плещеевой: «Желал бы знать, в чем состоит его журнал и какой имеет успех в публике. Ежели догадки мои справедливы, то отечество наше изображается им не в весьма выгодном виде. Но тем приятнее описаны прочия государства. Думаю, что и сама Курляндия, в сравнении с Россиею, представляется ему раем или, по малой мере, обетованною землею. Сие есть свойство всех наших молодых писателей: превозносить похвалами то, чего они не знают, и хулить то, чего познать не стараются» (Барсков 1915, 99–100).

Публично солидаризируясь с патриотическим текстом Хераскова и выставляя тем самым его роман в выгодном для него свете, Карам-

зин одновременно дезавуировал иного рода подозрения и даже обвинения, направленные против него самого.

Учитывая эту двусмысленность или, лучше сказать, двойную адресацию этой цитаты и комментария к ней, мы можем в полной мере оценить заявление Карамзина, которым он завершит свою рецензию: «Кадм будет жить с Россиядою и Владимиром».

В смысловом пространстве высвеченной Карамзиным темы великого будущего России, заявленной в «Кадме и Гармонии», роман этот оказывался принудительно связан с поэмами «Россияда» и «Владимир», причем в обоих случаях «высокие» аспекты русской истории недвусмысленно связывались с самодержавным принципом, который, мы видели, обсуждался в рецензии Карамзина как ключевой для всей идеологической конструкции, выстроенной Херасковым.

В «Россияде», переизданной Новиковым в 1786 г., благонамеренное решение вопроса о спасительной роли абсолютизма в истории России было выдвинуто уже в программном «Историческом предисловии», в сжатом виде представлявшем идеологию поэмы:

Сие жалостное и позорное состояние, в которое Россию утеснение от Татар и самовластие оных погрузило; отторжение многих князей, прочими соседями у ней похищенных; беспокойство внутренних ее мятежников, вовсе изнуравших свое отечество; сие состояние к совершенному падению ее наклоняло; оно простерлось до времен Царя *ИОАННА ВАСИЛЬЕВИЧА* Первого, вдруг возбудившего Россию, уготовавшего оную к самодержавному правлению, смело и бодро свергшего иго Царей Ордынских, и восставившего спокойство в недрах своего государства

(Херасков 1786, III).

На этой идеологической основе победа Иоанна IV над Казанью в финале «Россияды» осмыслялась как источник дальнейшего процветания России и связывалась с правлением Екатерины II:

Чело ко облакам Россия подняла,
Она с тех дней цвести во славе начала.
И естли кто сие читающий творенье,
Не будет уважать Казани покоренье,

Так слабо я дела Казанския воспел;
Иль сердце хладное читатель мой имел.
Но Муза! общим будь вниманьем ободренна;
ЕКАТЕРИНИНЫМ ты оком озаренна.

(Херасков 1786, 280).

Вторая поэма, «Владимир», трижды напечатанная Новиковым – в 1785 и в 1787 отдельно и с набора второго издания во втором томе «Эпических творений» Хераскова (см. подробнее: СК, 3, 332–333), – включает «казанский» эпизод в концепцию русской истории, внутренним образом которой оказывается «просвещение» князя Владимира и осуществленный им мистический выбор, и завершается «видением», в котором ему открывается великое будущее России и, в параллель к финалу «Россияды», вновь возникает тема екатерининского царствования:

О муж, Апостолам в небесном ликѣ равный!
Не будет никогда забвен твой подвиг славный
Ты души просветил, неверства прогнал мрак,
ЕКАТЕРИНОЮ днесь заслуг поставлен в знак;
Еще и ныне ты от горних мест зриаешь,
И верность во кресте Россиян озаряешь.
Ты будешь озарять Российскую страну,
Доколе видит мир и солнце и луну;
И слава дел твоих не умолчит во веки,
Доколе Истинне внимают человеки!.....

(Херасков 1786–1787, 2, 244; позднейшая редакция, без Екатерины II, но с Павлом I: Херасков, 2, 359–361).

Эта переключка финалов двух поэм лишь одна из возможных иллюстраций их идеологического единства, которое было очевидно современникам. В сущности, это понимание было продемонстрировано самой композицией двухтомника 1786–1787 г., выдвинувшего «Россияду» и «Владимира» как произведения соизмеримые или даже одинаковые по значению (возможно, не без дополнительного расчета на то, что одно из них, «Россияда», давно снискавшее благоволение власти и общества, сможет «поддержать» литературную и

идеологическую «репутацию» другого³⁸). Своего рода кульминацией тенденции к сближению двух поэм стало очередное переиздание «Эпических творений» в 1820 г., в котором, кроме краткой биографии Хераскова и предисловия издателя, была напечатана внушительная подборка посвященных ему стихотворений, один из разделов которой был выразительно озаглавлен «Надписи к портрету творца Россияды и Владимира»; здесь, в частности, была помещена известная надпись И.И. Дмитриева о зоилах Хераскова, который будет спасен от них «Владимиром, Иоанном» (Херасков 1820, 1, XV); ниже, в разделе «Воспоминание и Любимце Муз», напечаталась пьеса Д.П. Глебова на смерть Хераскова, начинавшаяся словами «Певец Владимира, бессмертной Россияды» (Херасков 1820, 1, XVII). Слова Карамзина о «Кадме», которому суждено сравняться «с Россиядою и Владимиром», оказываются в начале формирования подобных представлений и, насколько можно судить, на него повлияли.

Итак, Карамзин сделал все возможное для того, чтобы роман Хераскова открылся читателям как произведение, достойное их пристального внимания, а властям – как произведение благонамеренное, то есть базирующееся на идеологии и морали просвещенного абсолютизма, контрреволюционное и при этом выдвигающего тему величия России, обретаемого ею в рамках установившегося образа правления, и комплиментарное по отношению к личности и заслугам Высочайшей Особы³⁹.

³⁸ О том, что такого рода предусмотрительность, если она действительно имела место, была не лишней, свидетельствуют печальные для Хераскова и, конечно, еще более для Новикова события лета 1787 г., когда вновь изданный роман «Кадм и Гармония» вместе с другими книгами, напечатанными последним, изымался властями из продажи.

³⁹ В связи с этим не лишним будет заметить, что и «Россияда», и «Владимир» естественным образом включались в контекст идеологии «Велизария», причем в некоторых случаях Херасков прибегал к прямому, хотя и, так сказать незакавыченному, цитированию. Ограничимся одним, впрочем достаточно выразительным примером. В первой песни «Россияды», в монологе к царю, читается: «Ты властен все творить, тебе вещает лесть; / Ты раб отечества, вещают долг и честь <...>» (Херасков 1786, 9). Роман Мармонтеля дает своего рода «расшифровку» этого места: «Обязуюся, должен был он говорить, жить лишь для народа моего; посвящаю покой мой успокоению его; обещаюся давать ему законы полезные и справедливые, не иметь иной воли, как согласной с законами сими. Чем могущественнее он меня сделает, тем менее остануся свободен во мне; чем более он вдастся мне, тем более себе обжжет меня. Я должен ему отчетом в моих слабостях, в страстях моих и заблуждениях; даю ему право над всем, что есмь <...>. Знаешь ли какую ни есть

Оставалось уточнить собственную литературную позицию: решая тактические задачи, Карамзин меньше всего хотел кривить душой. Его главная претензия к Хераскову – антиисторизм, и Карамзин высказывает ее, по-прежнему не отказываясь от комплиментов и прибавляя к ним указания на трудности, с которыми неизбежно должен был столкнуться автор «Кадма и Гармонии»:

Довольно. Из сих приведенных мест можно видеть, что Кадм есть творение, достойное всего внимания Читателей.

Но говорят, что нет сочинения во всем совершенного. <...> Рецензент, читая Кадма, при многих местах думал: *Это слишком отзывается новизной; это противно духу тех времен, из которых взята басня.* Однако ж, вообразя себе всю трудность писать ныне так, как писывали Древние, столь отдаленные от нас по образу жизни, по образу мыслей и чувствований, согласился он сам с собою не почитать сих знаков новизны за несовершенство сочинения, имеющего цель моральную.

(Карамзин 1791, 98–99).

Для снисходительности такого рода у Карамзина были все основания: в предисловии к своему роману Херасков сам указывал на эту его особенность, как бы заранее соглашаясь с возможными упреками критиков и, вместе с тем, пытаясь их отвести:

Предупреждаю моих читателей, что в моем сочинении не всегда я держался Исторической и Географической точности; я последовал в том обыкновенной вольности писателей повествовательных сочинений. Дидона у Виргилия полагается современною Энею, хотя Ди-

обязанность и благороднее и совершеннее сего?» (Мармонтель 1785, 100–101). Именно этот фрагмент Мармонтеля, воспринятый в России как отнюдь не тривиальный, остался в русской культурной памяти, ср., напр. в статье кн. П.А. Вяземского о записках графини Жанлис (1826): «Чтобы дать понятие о критике ее, извлечем <...> нечто из критических замечаний ее на *Велисария*, сочинение Мармонтеля, напомнив мимоходом читателю, что и г-жа Жанлис написала своего *Велизария*, который, веря ей, лучшее ее произведение, тогда как *Велисарий* Мармонтеля худшее из его произведений. / “Царь должен сказать себе: я обязуюсь жить единственно для народа своего!” (Мармонтель). / “Как! нельзя позволить ему пожить немного и для семейства своего!» (замечание г-жи Жанлис). / <...> Что за охота теревить прекрасную мысль, чтобы выдернуть из нее мелочное и даже ложное заключение <...>» (Вяземский, 1, 212–213).

дона гораздо прежде Virgiliева Героя существовала; Сезострис во дни Телемака и Фенелона царствует Египтом; но Царь сей за долго до сего времени жил в мире. Впрочем, мое повествование не есть ни история, ни землеописание, следственно от строгостей летоисчисления освобождается

(Херасков 1789, 1, VII–VIII).

В скобках заметим, что нечто подобное утверждалось и в предисловии к Россияде, что, между прочим, еще раз возвращает нас к теме «романа как поэмы», ср.:

Повествовательное сие творение расположил я на Исторической истинне; сколько мог сыскать печатных и письменных известий, к моему намерению принадлежащих <...>. Но да памятуют мои читатели, что в Епической поэме, верности Исторической, как напротив в летописаниях поемы <так!> искать не возможно. Многое отметал я; переносил из одного времени в другое; изобретал; украшал; творил и созидал! <...> Епические поэмы <...> всегда по таковым, как сия, правилам сочиняются

(Херасков 1779, VI; то же во втором издании, осуществленном Новиковым: Херасков 1786, VI).

Карамзин хорошо понимает, что проблема не сводится к нарушениям хронологии, а потому, уже отказав себе в праве обвинять создание Хераскова в несовершенстве, вновь напоминает о Фенелоне:

Кто не знает Телемака Гомерова и Телемака Фенелонова? Кто не чувствует великой разности между ими? Возьми какого-нибудь пастуха – Швейцарского или Русского, все одно – одень его в Греческое платье, и назови его сыном Царя Итакского: он будет ближе к Гомерову Телемаку, нежели чадо Фенелонова воображения, которое есть ничто иное, как идеальный образ Царевича Французского, ведомого не Греческой Минервою, а Французскою Философиею

(Карамзин 1791, 99).

Этот пассаж, в принципе, может читаться как направленный против эстетики Хераскова, далекого от последовательного историзма и

в предисловии к «Кадму и Гармонии» обосновывавшего эту особенность своей аллегорической прозы, в частности указанием именно на Фенелона (Херасков 1789, 1, VII–VIII). Но предъявляя Хераскову свои претензии, Карамзин, во-первых, начинает с «оправдания» Хераскова, добиваясь эффекта сложной двусмысленности: претензии предъявляются – и тут же снимаются как неуместные. Во-вторых, Карамзин объявляет «великую разницу» между Гомером и Фенелоном одновременно принципиальной и общеизвестной – то есть понятной и самому автору «Кадма и Гармонии», который сознательно подчинил это свое понимание жанровому заданию своего произведения, обращенному не к истории, а к «цели моральной». Столь же двусмысленным представляется рискованное упоминание о «царевиче», «ведомом» «французской философией». С одной стороны, Карамзин касается здесь той темы влияния «философов» на наследника престола, которая была наиболее важной и болезненной для верховной власти в целом и для Екатерины II в первую очередь: именно связи московских масонов с будущим императором Павлом I рассматривались императрицей как угрожающие созданной ею политической системе. Другое дело, что мы не знаем, что именно им было известно об этих подозрениях властей, и тем более не знаем, что знал о них Карамзин. Но с другой стороны, в любом случае тема эта оказывалась жестко локализованной в пределах обсуждения политически и идеологически безопасного Фенелона, не имевшего, естественно, никакого отношения ни к французской революции, ни к актуальной политической ситуации в Европе и в России и при этом в контексте русской культуры устойчиво ассоциировавшийся с «Тилемахидой» Третьяковского, при екатерининском дворе воспринимавшейся сугубо иронически и вне каких бы то ни было политических «сюжетов»; разумеется, на безопасного Фенелона и – в полемическом контексте – на Третьяковского как на своего мало удачливого предшественника ссылался и сам Херасков в предисловии к «Кадму и Гармонии» (Херасков 1789, 1, V–VIII).

Далее Карамзин указывает на некоторую непоследовательность Хераскова в его характеристике Кадма как внутреннего человека, приводит несколько примеров неправильного или непривычного

словоупотребления и отказывается обсуждать недостатки далее, возвращаясь к апологетической оценке романа:

Но не будем искать бездельных ошибок – если это и подлинно ошибки – в таком сочинении, которое наполнено красотами разного рода. Один Английский Поэт сказал, что погрешности в сочинении подобны соломе, плавающей по верху воды, а красоты перлам, лежащим на дне. И так мало чести приобретет себе тот, кто будет всегда собирать первые

(Карамзин 1791, 100–101).

Английский поэт, которого цитирует Карамзин, – Джон Драйден (1631–1700), в прологе к трагедии которого «Все за любовь» («All for Love») (1677), представляющей собой переложение трагедии Шекспира «Антоний и Клеопатра», читается:

Errors, like straws, upon the surface flow;
He who would search for pearls, must dive below⁴⁰.

В данном случае Карамзин использует отработанный английской журналистикой прием заключать рецензию или статью, содержащую критические замечания, подобного рода цитатами, в том числе именно этой цитатой из Драйдена (см., напр.: *The Gentleman Magazine and Historical Chronicle*. London, 1738. V. 8. P. 202; ср.: *The London Magazine, or, Gentleman Monthly Intelligencer*. London, 1754. V. 23. P. 408), широко известной и давно вошедшей в соответствующие справочники (см. хотя бы: Crocott 1863, 108; Bartlett 1890, 228); иногда эти стихи приписывались Аддисону (см. напр.: Edwards 1872, 385), и не случайно: Аддисон процитировал их в своем многократно переиздававшемся журнале (*The Spectator*. 1712. № 291. February 2) и тем немало поспособствовал их популярности. По всей вероятности, имени Драйдена Карамзин не упоминает, поскольку считает, что ци-

⁴⁰ Dryden 1692; Dryden 1696 [вплоть до основного текста в этих изданиях пагинация отсутствует]; Dryden 1710, 17; трагедия, вошла в основной репертуар английского театра и до конца XVIII в. неоднократно перепечатывалась отдельными изданиями (Dryden 1740; Dryden 1768; Dryden 1778 и мн. др.), в том числе в собраниях сочинений Драйдена, см., напр.: Dryden 1735, 4, 197 и т.д.

тирует общеизвестный текст⁴¹. Те читатели Карамзина, которые могли разделить с ним это мнение, должны были вспомнить не только о Драйдене (или о Драйдене и Аддисоне), но и о Поупе, для которого Драйден был высоким образцом, как о том свидетельствует хотя бы «Опыт о критике» (1711), вызвавший полемику, но удостоившийся неожиданной поддержки не близкого Поупу Аддисона, где антигероем оказывается невежественный критик, бранящий Драйдена (Pope 1787, 2, 105, 108, 109). Именно Драйдену следует Поуп во второй главе этой поэмы, подробно рассматривая вопросе о мелочных придирках литературного критика, ср.:

A perfect judge will read each work of wit
With the same spirit that its author writ;
Survey the whole, nor seek slight faults to find
Where Nature moves, and rapture warms the mind;
<...>
Whoever thinks a faultless piece to see,
Thinks what ne'er was, nor is, nor e'er shall be

(Pope 1787, 2, 100–101;

перевод: Ширинский-Шихматов 1806, 15–17).

Так на уровне системы литературных подтекстов формируется одна из «рамочек» конструкции первого номера «Московского журнала»: он открывается цитатой из Поупа, а ближе к концу цитируется Драйден, на которого ориентировался Поуп и на которого, по крайней мере в вопросе о мелочной критике, готов ориентироваться Карамзин-рецензент.

Тут же формируется вторая «рамочка», рецензия заканчивается тем же, с чего начиналась, и роман Хераскова оказывается иллюстрацией к тезису Карамзина и принципиальной соизмеримости поэзии и

⁴¹ Вместе с тем не решаемся полностью исключить другую возможную причину: название пьесы Драйдена могло вызвать у иных осведомленных неблагонамеренных острословов нежелательные ассоциации с характером литературных отношений Карамзина с Херасковым в это время и вызвать к жизни неуместные, но, быть может, не вполне лишённые оснований умозаключения о том, что лояльность рецензента в какой-то мере обусловлена его заинтересованностью в союзнических отношениях с автором «Кадма и Гармонии».

прозы («все поэма»), что и фиксируется финальной фразой, которую мы уже обсуждали: «Кадм будет жить с Россиядою и Владимиром» (Карамзин 1791, 101).

О том, как были восприняты первый номер «Московского журнала» и рецензия на роман Хераскова в том московском масонском кругу, который осудил литературное начинание Карамзина, мы почти ничего не знаем. Но по крайней мере один документ в нашем распоряжении имеется: это письмо Н.Н. Трубецкого, едва ли не наиболее непримиримо настроенного к Карамзину и его журнальному проекту, к А.М. Кутузову от 20 февраля 1791 г. В нем читаем:

Касательно до общего нашего приятеля, Карамзина, то мне кажется, что он бабочку ловит и что чужие край, надув его гордостью, соделали, что он теперь никуда не годится. <...> Сочинение ж его никому не полюбилось, да и, правду сказать, полюбитья нечему, я пробежал оные и не в состоянии был оных дочитать. Словом, он своим журналом объявил себя в глазах публики дерзновенным, между нами сказать, дураком; <...> быв еще почти ребенок, он дерзнул на предприятие предложить свои сочинения публике, и вздумал, что он уже автор и что он в числе великих писателей в нашем отечестве, а даже осмелился рецензию делать на «Кадма»; но что касается самого его сочинения, то в оном никакой дерзости нет, а есть много глупости и скуки для читателя

(Барсков 1915, 94–95).

На первый взгляд, здесь нет ничего неожиданного. Под пером Трубецкого Карамзин предстает кем-то вроде фонвизинского Иванушки, который, побывав в Европе, возгордился, сделался дерзок и остался глуп. Его самомнение нелепо, а сочинения скучны, неумны, неуместны. Но вместе с тем выясняется нечто новое: некоторые опасения Трубецкого отпали, и он, при всей своей предвзятости, за которой, насколько можно судить, скрывалось желание убедить Хе-

раскова дистанцироваться от «Московского журнала», заявил, что в «самом его сочинении <...> никакой дерзости нет». Не вполне понятно, о чем именно говорит здесь Трубецкой – в целом о первом номере «Московского журнала» или только о рецензии Карамзина на роман Хераскова (вероятнее последнее: журнал он, как признается, не дочитал). Но во всяком случае ничего специфически анти-масонского в прочитанных им текстах Карамзина он не отмечает и, осуждая само его решение «рецензию делать на “Кадма”», не находит в ней ничего «дерзкого» по отношению к Хераскову.

Вместо заключения

Подведем некоторые итоги – не окончательные и даже не предварительные, поскольку изучение роли Хераскова в русском литературном процессе только начинается.

Итак, «московской группы» «сумароковцев» не существовало: московская литературная жизнь, оформившаяся вокруг университета, была выстроена Херасковым, и он же, начиная с 1760 г. (или даже со второй половины 1759 г., когда оформлялся замысел издания журнала «Полезное увеселение» и готовились его первые номера), замкнул ее на себя. Важную роль в истории херасковского литературного кружка сыграл ученик Ломоносова Поповский, чей перевод поэмы Поупа «Опыт о человеке», обостривший и без того непростые отношения Синода с университетом, оказался осмыслен этим кружком как одно из высших достижений русской поэзии. Именно Поповский стал связующим звеном между литературными интересами «херасковцев» и Ломоносовым, «Гимн бороде» которого, связанный со скандалом вокруг этого перевода, оказался включен в сложный контекст борьбы Московского университета за независимость от церковных властей. Попытка Сумарокова в 1759 г. примириться с Третьяковским и соединиться с ним в борьбе против Ломоносова свидетельствовала о том, что он не рассматривал «херасковцев» как свою «опорную базу», и способствовала его фактической (само)изоляции, которую он считал нужным засвидетельствовать в последнем номере «Трудолюбивой Пчелы». Таким образом, 1759 г. оказывается не «точкой сборки» «направления» «сумароковцев» а, наоборот, временем оформления херасковского кружка за пределами сферы непосредственного влияния Сумарокова.

При этом не Сумароков, как бы ни оценивалось его литературное дарование и мера претензий на лидерство, а Ломоносов являлся главным ориентиром для русских поэтов XVIII в., и в первую очередь именно для Хераскова и поэтов его круга, обсуждение литературной позиции которых не может быть сведено к тезису об их ученичестве у Сумарокова. Соответствующим образом, «победа сумароковцев» над Ломоносовым есть не более чем исследовательский миф.

Политического значения Сумароков не имел и иметь не мог уже в силу того, что никогда, насколько известно, не был допущен к обсуждению «закрытых» аспектов актуальной политической борьбы как в силу недостаточности элитных связей, так и по причине неумения / невозможности выстроить адекватную социальную репутацию. При этом его общая ориентация на круг Н.И. Панина и в.к. Павла Петровича Херасковым и его кругом не воспринималась как единственно возможная; по крайней мере, сам Херасков последовательно ориентировался на партию Г.Г. Орлова, ненавидевшего Панина.

Прямое и косвенное влияние Хераскова и его круга (прежде всего Новикова и И.П. Тургенева) на русскую литературную жизнь простирается вплоть до пушкинского времени. В сфере этого влияния оказались Богданович, Муравьев, Карамзин и даже Жуковский, Батюшков, Пушкин. Особое место в этом ряду принадлежит Карамзину. Оказав ему разностороннюю поддержку, Херасков тем самым немало способствовал становлению его литературной репутации, а вместе с тем и новой литературной эпохи, которая, как довольно скоро выяснилось, в Хераскове все менее или вовсе не нуждалась и оформилась вокруг Карамзина. Его положительная, чтобы не сказать апологетическая, рецензия на роман «Кадм и Гармония» парадоксальным образом оказалась началом процесса маргинализации Хераскова: выступив в роли благосклонного к нему арбитра и воспользовавшись его поддержкой, Карамзин сумел осуществить собственный литературный проект, не антагонистический херасковскому, но и, конечно, не сводившийся к его идеологии и эстетике.

Литература

Альшуллер 2014 – Альшуллер М.Г. В тени Державина: Литературные портреты. СПб., 2014.

Афанасьев 1859 – Афанасьев А.Н. Образцы литературной полемики прошлого столетия // Библиографические записки. 1859. Т. 2. № 15. С. 449–476; № 17. С. 513–528.

Аксаков 1858 – Аксаков С.Т. Детские годы Багрова-внука, служащие продолжением Семейной хроники. М., 1858.

Алексеева 2005 – Алексеева Н.Ю. Русская ода: Развитие одической формы в XVII–XVIII веках. СПб., 2005.

Алексеева 2017 – Алексеева Н.Ю. Значение дружбы с Н.И. Паниным для творчества А.П. Сумарокова // XVIII век: Сб. 29. М.; СПб., 2017. С. 60–80.

Анучин 1868 – Анучин Д.Г. Участие Суворова в усмирении пугачевщины и поимка Пугачева: Материалы для истории пугачевского бунта // Русский вестник. 1868. Т. 78. № 11. С. 5–32.

Аствацатурова 2018 – Письма Г.А. Гуковского к В.М. Жирмунскому (вступительная статья, подготовка текста и комментарии В.В. Аствацатуровой) // Русская литература. 2018. № 2. С. 52–76.

Барсков 1915 – Барсков Я.Л. Переписка московских масонов XVIII в.: 1780–1792 гг. Пг., 1915.

Барсуков 1873 – Барсуков А.П. Князь Григорий Григорьевич Орлов (1734–1783) // Русский архив. 1873. Кн. 1. № 2. Ст. 1–146.

Бартенева 1857 – <Бартенева П.И.> Биография И.И. Шувалова. М., 1857.

Бартенева 1876 – Пугачевщина: Письма *графа П.И. Панина* к брату его графу Никите Ивановичу и письма *князя Потемкина* к графу П.И. Панину: С предисловием издателя <П.И. Бартенева>: (Сообщено княгиней М.А. Мещерскою) // Русский архив. 1876. Кн. 2. № 5. Ст. 7–44.

Белинский 1834 – <Белинский В.Г.> Литературные мечтания. (Элегия в прозе) // Молва. 1834. № 38. С. 173–176; № 39. С. 190–194; № 41. С. 224–236; № 42. С. 248–256; № 45. С. 295–302; № 46. С. 308–318; № 49. С. 360–377; № 50. С. 387–402; № 51. С. 413–428; № 52. С. С. 438–462.

Белинский 1843 – [Белинский В.Г.] Сочинения Александра Пушкина: Санктпетербург: *Одиннадцать томов: MDCCCXXXVIII – MDCCCXLI*: Статья первая: Обзорение русской литературы от Державина до Пушкина // Отечественные записки: Учено-литературный журнал, издаваемый Андреем Краевским, на 1843 год. Т. 28. № 6. Отд. 5. С. 19–42.

Белоус 2004–2005 – Белоус В.Г. Вольфила [Петроградская Вольная Философская Ассоциация]: 1919–1924. Кн. 1–2. М., 2004–2005.

Берков 1936 – Берков П.Н. Ломоносов и литературная полемика его времени: 1750–1765. М.; Л., 1936.

Берков 1940 – Берков П.Н. <Рец. на кн.:> Гуковский Г.А. Русская литература XVIII века. М.: Гос. учебно-педагогическое изд-во Наркомпроса РСФСР, 1939. 527 с. // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. 1940. <Т. 1.> № 1. С. 102–105.

Берков 1952 – Берков П.Н. История русской журналистики XVIII века. М.; Л., 1952.

Берков 1962 – Берков П.Н. Несколько справок для биографии А.П. Сумарокова // XVIII век. Сб. 5. М.; Л., 1962. С. 364–375.

Берков 1964 – Берков П.Н. Введение в изучение истории русской литературы XVIII века: Часть I: Очерк литературной историографии XVIII века. <Л.,> 1964.

Берков 1977 – Берков П.Н. История русской комедии XVIII в. Л., 1977.

Богданович – Собрание сочинений и переводов Ипполита Федоровича Богдановича. Собраны и изданы Платоном Бекетовым / Изд. второе. Ч. 1–4. М., 1818–1819.

Бонди 1935 – Бонди С.М. Третьяковский, Ломоносов, Сумароков // Третьяковский В.К. Стихотворения / Под ред. А.С. Орлова, при участии А.И. Малеина, П.Н. Беркова и Г.А. Гуковского; Вступ. статья С.М. Бонди. Л.: Сов. писатель, 1935, с. 7–113 (Библиотека поэта: Большая серия).

Бонди 2013 – Сергей Михайлович Бонди: К 120-летию со дня рождения: Статьи; Письма; Воспоминания современников. М., 2013.

Брикнер 1888–1892 – Брикнер А.Г. Жизнеописание графа Никиты Петровича Панина. Т. 1–6. СПб., 1888–1892.

Бугров 2015 – Бугров К.Д. Монархия и реформы: Политические взгляды Н.И. Панина. Екатеринбург. 2015.

Васильчиков – Васильчиков А.А. Семейство Разумовских. Т. 1–5. СПб., 1880–1894.

Вацуро 1989 – Вацуро В.Э. Карамзин возвращается // Литературное обозрение. 1989. № 11. С. 33–39.

Виноградов 1961 – Виноградов В.В. Проблема авторства и теория стилей. М., 1961.

Власть 1999 – Власть и художественная интеллигенция: Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б), ВЧК – ОГПУ – НКВД о культурной политике: 1917–1953. М., 1999 (Россия: XX век: Документы).

Воейков 1796 – Краткое историческое родословие благородных дворян Приклонских: По сообщенным достоверным известиям от Действительного Стаского Советника Михаила Васильевича Приклонского. Собранное и написанное <...> Игуменом Ювеналием, из фамилии Воейковых. М., 1796.

Воронцов-Дашков 2010 – Воронцов-Дашков А.И. Екатерина Дашкова: Жизнь во власти и в опале. М., 2010 (Жизнь замечательных людей).

Вяземский – Вяземский П.А. Полн. собр. соч.: Т. 1–12. СПб., 1878–1896.

Вяземский 1848 – Вяземский П.А. Фон-Визин. СПб., 1848.

Галахов 1858 – Галахов А.Д. Карамзин, как оптимист: (К.Д. Кавелину) // Отечественные записки. 1858. Т. 116. № 1. Отд. 1. С. 107–146.

Гаспаров 2003 – Гаспаров М.Л. Стиль Ломоносова и стиль Сумарокова – некоторые коррективы // Новое литературное обозрение. 2003. № 59. С. 235–243.

Геннади 1853 – Геннади Г.Н. Автобиография И.Ф. Богдановича // Отечественные записки. 1853. Т. 87. № 4. С. 181–186.

Гершензон 1910 – Гершензон М.О. Отголоски 14 декабря в Московском университете // Русская старина. 1910. № 2. С. 333–349.

Гинзбург 1989 – Гинзбург Л.Я. Человек за письменным столом: Эссе; Из воспоминаний; Четыре повествования. Л., 1989.

Глинка 1841 – Глинка С.Н. Очерки жизни и избранные сочинения Александра Петровича Сумарокова. <Ч. 1–2>. СПб., 1841.

Глинка 1895 – Глинка С.Н. Записки / Издание редакции журнала «Русская Старина». СПб., 1895.

Глинка 1961 – Глинка М.Е. М.В. Ломоносов: (Опыт иконографии). М.; Л., 1961.

Глушаков 2011 – Глушаков П.С. Забытый эпизод из истории советского литературоведения (Андроников – Бонди – Виноградов – Гуковский – Оксман) //Новое литературное обозрение. 2011. № 107. С. 388–394.

Григорович 1874 – Письмо генерал-прокурора правительствующего сената Н.Ю. Трубецкого к обер-прокурору святейшего синода Я.П. Шаховскому 2 декабря 1750 г. / Сообщил Н.И. Григорович // Русская старина, 1874. Т. 11. № 12. С. 775–776.

Гуковский 1927 – Гуковский Г.А. Русская поэзия XVIII века. Л., 1927.

Гуковский 1927а – Гуковский Г.А. Из истории русской оды XVIII века: (Опыт истолкования пародии) // Поэтика: Сборник Статей. Л., 1927 (Временник Отдела словесных искусств: <Вып.> 3). С. 129–147.

Гуковский 1930 – Гуковский Г.А. Шкловский, как историк литературы //Звезда. 1930. № 1. С. 191–216.

Гуковский 1936 – Гуковский Г.А. Очерки по истории русской литературы XVIII века: Дворянская фронда в литературе 1750–1760-х годов. М.; Л., 1936.

Гуковский 1939 – Гуковский Г.А. Русская литература XVIII века: Учебник для высших учебных заведений. М., 1939.

Гуковский 1940 – Гуковский Г.А. Пушкин и поэтика русского романтизма: (Проблема национально-романтического колорита в поэзии) // Известия Академии наук Союза ССР: Отделение литературы и языка. 1940. № 2. С. 56–92.

Гуковский 1941 – Гуковский Г.А. Стиль гражданского романтизма 1800-х– 1810-х гг. и творчество молодого Пушкина // Пушкин – родоначальник новой русской литературы: Сб. научно-исследовательских работ. М.; Л., 1941. С. 167–191.

Гуковский 1941а – Гуковский Г.А. Сумароков и его литературно-общественное окружение // История русской литературы: В 10 т. / АН СССР. Т. 3: Литература XVIII века»: Ч. 1. М.; Л., 1941. С. 349–420.

Гуковский 1946 – Гуковский Г.А. Очерки по истории русского реализма: Ч. 1: Пушкин и русские романтики. Саратов, 1946.

Гуковский 1947 – Гуковский Г.А., Макогоненко Г.П. Основные течения общественной мысли 1760—1780-х годов // История русской литературы: В 10 т. / АН СССР. Т. 4: Литература XVIII века»: Ч. 2. М.; Л., 1947. С. 7–38.

Гуковский 1957 – Гуковский Г.А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957.

Гуковский 1959 – Гуковский Г.А. Реализм Гоголя. М.; Л., 1959.

Гуковский 1965 – Гуковский Г.А. Пушкин и русские романтики. М., 1965.

Гуковский 1999 – Гуковский Г.А. Русская литература XVIII века. М., 1999.

Гуковский 2001 – Гуковский Г.А. Ранние работы по истории русской поэзии XVIII века. М., 2001.

Дашкова 1876 – Воспоминания Княгини Е.Р. Дашковой, писанные ею самой. Лейпциг, 1876.

Державин – Державин Г.Р. Соч. с объяснительными примечаниями Я.[К.] Грота: Т. 1–9 / Издание Имп. Академии наук. СПб., 1864–1883.

Державин 1791 – [Державин Г.Р.] Прогулка в Сарском Селе // Московский Журнал. 1791. С. 125–127.

Державин 1797 – Державин Г.Р. Ода на новый 1797 год // Аониды, или Собрание разных новых стихотворений. Книжка 2. М., 1797. С. 15–24.

Дмитриев 1869 – Дмитриев М.А. Мелочи из запаса моей памяти / Вторым тиснением, с значительными дополнениями по рукописи автора. М., 1869.

Достоевский – Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972–1990.

Дуров 1870 – Журнал собственный К.<нязя> Н.<икиты> Т.<рубецкого> / Сообщил Н.П. Дуров // Русская старина. 1870. Т 1. С. 33–41.

Екатерина II 1907 – Записки Императрицы Екатерины Второй: Перевод с подлинника, изданного Императорской Академией наук. СПб., 1907.

Елагин – Опыт повествования о России. Сочинение Ивана Елагина, начатое на 65м году от его рождения, лета от Р. X. 1790, Двора Его Императорского Величества Обер-Гофмейстера. Кн. 1–3. М., 1803.

Живов 1997 – Живов В.М. Первые русские литературные биографии как социальное явление: Третьяковский, Ломоносов, Сумароков // Новое литературное обозрение. 1997. № 25. С. 24–83.

Живов 2002 – Живов В.М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 2002.

Жуковский – Жуковский В.А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 1999–.

Западов 1979 – Западов А.В. Поэты XVIII века: М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин: Литературные очерки. <М.,> 1979.

Западов 1984 – Западов А.В. Поэты XVIII века: А. Кантемир, А. Сумароков, В. Майков, М. Херасков: Литературные очерки. <М.,> 1984.

Западов 1999 – Западов В.А. Муравьев Михайла Никитич // Русские писатели XVIII века: Вып. 2: (К-П). СПб., 1999. С. 305–314.

Зейдлиц 1883 – Зейдлиц К.К. Жизнь и поэзия В.А. Жуковского: 1783–1852: По неизданным источникам и личным воспоминаниям. СПб., 1883.

Иванов-Разумник 1911 – Иванов-Разумник <Р.В.> История русской общественной мысли: Индивидуализм и мещанство в русской литературе и жизни XIX в. / 3-е изд., дополненное. Т. 1–2. СПб., 1911.

Ивинский 2012 – Ивинский А.Д. Литературная политика Екатерины II: «Собеседник любителей российского слова». М., 2012.

Ивинский 2015 – Ивинский Д.П. Ломоносов в русской культуре. <М.,> 2015.

Ивинский 2017 – Ивинский Д.П. Пометы кн. П.А. Вяземского на полях «Писем русского путешественника» // Stephanos. 2017. № 3. С. 85–95.

Ивинский 2018 – Ивинский Д.П. Из комментария к рецензии Н.М. Карамзина на роман М.М. Хераскова «Кадм и Гармония» // Известия Российской академии наук: Серия литературы и языка. 2018. Т. 77. № 2. С. 15–36.

Истрин 1910 – Истрин В.М. Дружеское литературное общество 1801 г.: (По материалам Архива братьев Тургеневых) // Журнал Министерства народного просвещения. Новая серия. 1910. № 8. Отд. 2. С. 273–307.

Кантемир 1744 – Квинта Горация Флакка десять Писем первой книги переведены с Латинских стихов на Руские с примечаниями изъяснены от знатного некоторого охотника до стихотворства с приобщением при том письмом о сложении Руских стихов. Печатались в Санктпетербурге при Императорской Академии наук 1744 года.

Кантемир 1762 – Сатиры и другие стихотворческие сочинения Князя Антиоха Кантемира, с историческими примечаниями и с кратким описа-

нием его жизни. В Санктпетербурге при Императорской Академии наук 1762 года.

Капнист 1796 – Капнист В.В. Уныние // Аониды, или Собрание разных новых стихотворений. Книжка 1. М., 1796. С. 8–12.

Карамзин 1791 – Карамзин Н.М. Кадм и Гармония. древнее повествование, в двух частях // Московский журнал. 1791. Ч. 1. № 1. С. 81–101.

Карамзин 1796 – Карамзин Н.М. Нечто о Науках, Искусствах и Просвещении // Аглая / Издание второе. Книжка 1. М., 1796. С. 33–76.

Карамзин 1797 – Карамзин Н.М. К бедному поэту // Аониды, или Собрание разных новых стихотворений. Книжка 2. М., 1797. С. 35–42.

Карамзин 1797–1801 – Письма Русского Путешественника. Ч. 1–6. М., 1797–1801.

Карамзин 1837 – Отрывок из рукописи Карамзина: О древней и новой России, в ее политическом и гражданском отношениях: (До смерти Екатерины II) // Современник: Литературный журнал А.С. Пушкина, изданный по смерти его Кн. П.А. Вяземским, В.А. Жуковским, А.А. Краевским, Кн. В.Ф. Одоевским и П.А. Плетневым. 1837. Т 5. С. 89–112.

Карамзин 1854 – Смесь к *Московским ведомостям* 1795 года: Отрывки, оригинальные и переводные, Н.М. Карамзина // Москвитянин. 1854. № 3–4. С. 45–46, 49–64; № 6. С. 13–28; № 7. С. 29–46; № 10. С. 59–74; № 11. С. 111–126; № 12. С. 171–198.

Карамзин 1866 – Карамзин Н.М. Письма к И.И. Дмитриеву / По поручению Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук издали с примечаниями и указателем Я. Грот и П. Пекарский: К письмам приложены снимки почерка и портрет Карамзина. СПб., 1866.

Карин 1778 – Письмо к Николаю Петровичу Николеву, о Преобразителях Российского языка на случай преставления Александра Петровича Сумарокова. Печатано в Москве 1778 года января 8 дня.

Кафанова 1979 – Кафанова О.Б. Н.М. Карамзин – переводчик Мармонтеля // Проблемы метода и жанра: Вып. 6. Томск, 1979. С. 157–176.

Кафанова 1989 – Кафанова О.Б. Библиография переводов Н.М. Карамзина (1783–1800 гг.) // XVIII век: Сб. 16: Итоги и проблемы изучения русской литературы XVIII века. Л., 1989. С. 319–337.

Кафанова 2002 – Kafanova, Olga. N. M. Karamzin traducteur et interprète des Contes moraux de J.-F. Marmontel et de S. F. de Genlis // Revue des études slaves. T. 74. F. 4. 2002. P. 741–757.

Кизеветтер 1904 – Кизеветтер А.А. Один из реформаторов русской школы: <Рец. на кн.:> П.М. Майков: «Иван Иванович Бецкой». Опыт его биографии. СПб., 1904 г. // Русская мысль. 1904. № 9. С. 122–144.

Кондаков 2013 – Кондаков Ю.Е. Орден Золотого и Розового Креста в России: Теоретический градус Соломоновых наук. СПб., 2012.

Корсаков 1891 – Корсаков Д.А. Из жизни русских деятелей XVIII века. Казань, 1891.

Кочеткова 1962 – Кочеткова Н.Д. Отзывы о Ломоносове в «Собеседнике любителей российского слова» // Литературное творчество М.В. Ломоносова: Исследования и материалы. М.; Л., 1962. С. 270–281.

Кочеткова 1994 – Кочеткова Н.Д. Литература русского сентиментализма. СПб., 1994.

Кочеткова 1995 – Кочеткова Н.Д. Два издания «Московского журнала» Н.М. Карамзина // XVIII век: Сб. 19. СПб., 1995. С. 168–182.

Кочеткова 1999 – Кочеткова Н.Д. Карамзин // Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 2. СПб., 1999. С. 32–43.

Кочеткова 2003 – Kochetkova, Natalia. Le Sentimentalisme Russe et la Franc-Maçonnerie // Revue des études Slaves. Vol. 74, №. 4. 2002–2003. P. 689–700.

Кочеткова 2004 – Кочеткова Н.Д. К истории перевода Н.Н. Поповского поэмы А. Попа «Опыт о человеке»: (Ранняя редакция) // XVIII век: Сб. 23. СПб., 2004. С. 306–337.

Кочеткова 2006 – Кочеткова Н.Д. Херасков в «Московском журнале» Карамзина // Русская литература. 2006. № 4. С. 161–165.

Кочеткова 2007 – Кочеткова Н.Д. Херасков и Жуковский – переводчики сочинения Александра Попа «Элоиза к Абеляру» // Жуковский и время. Томск, 2007. С. 21–28.

Кочеткова 2010 – Кочеткова Н.Д. Херасков Михаил Матвеевич // Словарь русских писателей XVIII века. Т. 3. СПб., 2010. С. 344–361.

Кочетов; Галкин 2007 – Кочетов Д.Б.; Галкин А.К. Димитрий (Сеченов Даниил Андреевич) // Православная энциклопедия. Т. 14. М., 2007. С. 93–96.

Кулакова 1947 – Кулакова Л.И. Херасков // История русской литературы: В 10 т. Т. 4. Ч. 2. М.; Л., 1947. С. 320–341.

Кулакова 1976 – Кулакова Л.И. Н.И. Новиков в письмах Н.И. Новикова // XVIII век: Сб. 11. Л., 1976. С. 16–23.

Кульматова 2010 – Кульматова Т.В. Экземпляр книги «Велизер» Ж.-Ф. Мармонтеля из академического собрания БАН // Деятели книги: Михаил Николаевич Куфаев (1888–1948): сб. науч. тр. по материалам 15-х Смирдинских чтений. СПб., 2010. С. 165–175.

Куник – Сборник материалов для истории Императорской Академии наук в XVIII веке / Издал А.<А.> Куник. Ч. 1–2. СПб., 1865.

Летописи – Летописи русской литературы и древности, издаваемые Николаем Тихонравовым. Т. 1–5. М., 1859–1863.

Лихачев 1888 – Лихачев Н.П. Разрядные дьяки XVI века: Опыт исторического исследования. СПб., 1888.

Ломоносов АН – Ломоносов М.В. Соч.: С объяснительными примеч. акад. М.И. Сухомлинова / Издание Имп. Акад. наук: Т. 1–5. СПб., 1891–1902.

Ломоносов АН 2 – Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. / Редколлегия: В.В. Виноградов, Б.Д. Греков, А.В. Топчиев. С.Г. Бархударов, А.И. Андреев. Г.П. Блок. Г.А. Князев, В.Л. Ченакал. Т. 1–11. М.; Л., 1950–1983 (АН СССР).

Лонгинов 1858 – Лонгинов М.Н. Письма Н.М. Карамзина, сообщенные Н.И. Второвым // Библиографические записки. 1858. № 19. Ст. 587–592.

Лонгинов 1867 – Лонгинов М.Н. Новиков и московские мартинисты. М., 1867.

Лопухин 1860 – Лопухин И.В. Записки: С предисловием Искандера. Лондон, 1860.

Лотман 1968 – Лотман Ю.М. Историко-литературные заметки // Ученые записки Тартуского гос. ун-та: Вып. 209: Труды по русской и славянской филологии: [Т.] 9: Литературоведение. Тарту, 1968. С. 358–365.

Лотман 1981 – Лотман Ю.М. Черты реальной политики в позиции Н.М. Карамзина 1790-х гг. (к генезису исторической концепции Карамзина) // XVIII век: Сб. 13. Л., 1981. С. 102–131.

Лотман 2002 – Лотман Л.М. Он был нашим профессором // Новое литературное обозрение. 2002. № 55. С. 40–53.

Лотман 2005 – Лотман Ю.М. Воспитание души. Воспоминания. Беседы. Интервью. В мире пушкинской поэзии (сценарий). Беседы о русской культуре. Телевизионные лекции. СПб., 2005.

Лыжин 1859 – Лыжин Н.П. Альбом Н.М. Карамзина // Летописи русской литературы и древности, издаваемые Николаем Тихоновичем. Т. 1. М., 1859. С. 161–192.

Любжин 2011–2014 – Любжин А.И. Русский Гомер: Опыт о литературной репутации // Вестник Московского университета: Серия 9: Филология. 2011. № 5. С. 83–96; 2013. № 1. С. 71–86; 2014. № 1. С. 48–58.

Майков 1777 – <Майков В.И.> Надписи // Санктпетербургские ученые ведомости. 1777. № 22. С. 171–172.

Майков 1896 – Письма И.И. Бецкого к Екатерине II / Сообщил П.М. Майков // Русская старина. 1896. № 11. С. 381–420.

Майков 1889 – Майков Л.Н. Очерки из истории русской литературы XVII и XVIII столетий. СПб., 1889.

Майков 1904 – Майков П.М. Иван Иванович Бецкой: Опыт его биографии. СПб., 1904.

Майков 1966 – Майков В.И. Избранные произведения. М.; Л., 1966.

Макогоненко 1956 – Макогоненко Г.П. Радищев и его время. М., 1956.

Маркович 2007 – Маркович В.М. Мифы и биографии: Из истории критики и литературоведения в России: Сб. статей. СПб., 2007.

Мармонтель 1768 – Велизер, сочинения Г. Мармонтеля, члена Французской Академии, переведен на Волге. [М.,] 1768.

Мармонтель 1773 – Велизер, сочинения Г. Мармонтеля, члена Французской Академии, переведен на Волге: 2-м тиснением. СПб., 1773.

Мармонтель 1885 – Велизер, сочинения Г. Мармонтеля, члена Французской Академии, переведен на Волге: 3-м тиснением: Изданием Типографической Компании. М., 1885.

Мартынов 1981 – Мартынов И.Ф. Книгоиздатель Николай Новиков. М., 1981.

Модзалевский 1958 – Модзалевский Л.Б. Ломоносов и его ученик Поповский: (О литературной преемственности) // XVIII век. Сб. 3 / АН СССР, ИРЛИ (Пушкинский Дом). М.; Л., 1958. С. 111–169.

Модзалевский 2011 – Модзалевский Л.Б. М.В. Ломоносов и его литературные отношения в Академии наук: Из истории русской литературы и просвещения середины XVIII века. СПб., 2011 (Ad Fontes: Материалы и исследования по истории науки: Выпуск 1).

Морозова 1989 – Морозова Н.П. Книга из библиотеки Гоголей: (К вопросу об употреблении термина *поэма* в русской литературе) // XVIII век: Сб. 16. Л., 1989. С. 251–255.

Морохин 2002 – Морохин А.В. Русская православная церковь и старообрядчество в Нижегородском Поволжье: развитие взаимоотношений в первой половине XVIII века // Вестник Нижегородского Ун-та им. Лобачевского. Серия История. 2002. Вып. 1. С. 56–61.

Морохин 2005 – Морохин А.В. Взаимоотношения старообрядчества и Русской Православной Церкви в Нижегородской епархии во второй половине XVII–XVIII вв.: (1672 – 1762 гг.): Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Нижний Новгород 2005.

Морохин 2009 – Морохин А.В. Архиепископ Нижегородский и Алатырский Питирим: Церковный деятель эпохи перемен. Нижний Новгород, 2009.

Муравьев 1774 – Похвальное слово Михайле Васильевичу Ломоносову, писал лейб-гвардии Измайловского полку каптенармус Михайло Муравьев. В Санктпетербурге, 1774 года.

Муравьев 1778 – [Муравьев М.Н.] Дщицы для записывания // Утренний свет. 1778. Ч. 4. С. 368–378.

Муравьев 1967 – Муравьев М.Н. Стихотворения. Л., 1967 (Библиотека поэта: Второе издание).

Николев – Творении Николая Петровича Николева, Императорской Российской Академии Члена. Ч. 1–5. М., 1795–1798.

Николев 1787 – Самолюбивый стихотворец: Комедия в пяти действиях Николая Николева: Сочинена в 1775 году // Российский Феатр или Полное собрание всех Российских Феатральных сочинений. Ч. 14. В Санктпетербурге, 1787 года. С. 5–148.

Николев 1791 – Лирическое послание Ее Сиятельству Княгине Екатерине Романовне Дашковой, сочинение Николая Николева // Новые ежемесячные Сочинения. 1791. Ч. 60. Июнь. С. 3–39.

Новиков 1772 – Опыт исторического словаря о Российских Писателях: Из разных печатных и рукописных книг, сообщенных известий, и словесных преданий. Собрал Николай Новиков. СПб., 1772.

Орлов 1977 – Орлов П.А. Русский сентиментализм. М., 1977.

Орлов-Давыдов – Орлов-Давыдов В.П. Биографический очерк графа Владимира Григорьевича Орлова. Т. 1–2. СПб., 1878.

Осповат 2009 – Осповат К.А. Гуковский в 1927–1929 гг.: к истории «младоформализма» // Тыняновский сборник: Вып. 13: XII–XIII–XIV Тыняновские чтения: Исследования; Материалы. М., 2009. С. 570–586.

Панин 1871 – Бумаги, касающиеся предположения об учреждении Императорского Совета и о разделении Сената на департаменты в первый год царствования Екатерины II (28-го декабря 1762 года): 1: Список с чернового, собственноручного доклада графа Н. Панина // Сборник Русского исторического общества. Т. 7. СПб., 1871. С. 202–209.

Панчулидзев 1901 – Сборник биографий кавалергардов: <Т. 1:> 1724–1762: По случаю столетнего юбилея Кавалергардского Ее Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны полка / Составлен под редакцией С. Панчулидзева. СПб., 1901.

Папкович 1818 – Папкович Ф.Ф. Жизнь И.И. Шувалова // Труды Вольного общества любителей Российской словесности. 1818. Ч. 2. Кн. 3. № 6. С. 401–423.

Пекарский – Пекарский П.П. История Императорской Академии наук в Петербурге. Т. 1–2. СПб., 1870–1873.

Пекарский 1858 – Пекарский П.П. Письмо И.И. Шувалова о дозволении издать в свет перевод Поповского: «Опыт о человеке». – Отзыв и поправки этого перевода преосвященным Амвросием // Библиографические записки. 1858. Т. 1. № 16. Ст. 489–491.

Писарев 1804 – [Писарев А.А.] Рассмотрение всех рецензий, помещенных в ежемесячном издании под названием: *Московской журнал*, изданный на 1797 и 1799 год Н.М. Карамзиным // Северный вестник. 1804. Ч. 3. № 8. С. 141–158.

Письма 1980 – Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980.

Плаксин 1833 – Плаксин В.Т. Руководство к познанию истории литературы. СПб., 1833.

Плаксин 1837 – Плаксин В.Т. Визин или Фон-Визин // Энциклопедический Лексикон. Т. 10. СПб., 1937. С. 105–112.

Погодин 1866 – Погодин М.П. Николай Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников: Материалы для биографии, с примечаниями и объяснениями. Ч. 1–2. М., 1866.

Погосян 2008 – Погосян Е.А. Ломоносов и химера: отражение литературной полемики 1750-х годов в маскарade «Торжествующая Минерва» //

Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. VI (Новая серия): К 85-летию Павла Семеновича Рейфмана. Тарту, 2008. С. 11–24.

Покровский 1910–1913 – Покровский М.Н. История России с древнейших времен. Т. 1–5. М., 1910–1913.

Покровский 1939–1940 – Против антимарксистской концепции М.Н. Покровского: Сборник статей. Ч. 1–2. М.; Л., 1939–1940.

Пономарев 2008 – Пономарев Е.Р. Как сделана идеология науки: Крах профессора Г.А. Гуковского // *Russian Literature*. 2008. V. 63. Iss. 2–4. P. 397–425.

Поповский 1757 – Опыт о человеке господина Попе, перевод с французского языка Академии Наук Конректором Николаем Поповским 1754 года, печатано при Императорском Московском Университете 1757 года.

Поповский 1757а – <Поповский Н.Н. Надпись к портрету М.В. Ломоносова> // *Собрание разных сочинений в стихах и в прозе Михайла Ломоносова*. Книга первая. Второе издание с прибавлениями. Печатано при Императорском Московском Университете 1757 года.

Поповский 1763 – Опыт о человеке, господина Попия, переведен с французского языка Академии Наук Конректором Николаем Поповским 1754 года. Изд. 2-е, печатано при Императорском Московском Университете 1763 года.

Поповский 1787 – Опыт о человеке господина Попе, переведено с французского языка Академии Наук Конректором Николаем Поповским 1754 года. 2-е изд., печатано при Императорском Московском Университете 1763 года. В Москве, 1787.

Поповский 1791 – Опыт о человеке: Философическая поэма: Господина Попия: Переведено с французского языка красноречия профессором и философии магистром Николаем Поповским. Яссы, 1791.

Порошин 1844 – Порошин С.А. Записки, служащие к истории Его Императорского Высочества Благоверного Государя Цесаревича и Великого Князя Павла Петровича Наследника Престолу Российского. СПб., 1844.

Порошин 1881 – Порошин С.А. Записки, служащие к истории Его Императорского Высочества Благоверного Государя Цесаревича и Великого Князя Павла Петровича / Издание второе, исправленное и значительно дополненное по рукописям, принадлежащим Его Императорскому Высочеству Государю Великому Князю Константину Николаевичу и по другим рукописям. СПб., 1881.

ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской Империи, повелением Государя Императора Николая Павловича составленное: Собрание первое: С 1649 по 12 декабря 1825 года. Т. 1–45. СПб., 1830.

ПСПр – Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания Российской Империи: Царствование Государыни Императрицы Елисаветы Петровны. Т. 1–4. СПб., 1907–1912.

Пумпянский 1937 – Пумпянский Л.В. Третьяковская и немецкая школа разума // Западный сборник. Вып. 1. М.; Л., 1937. С. 157–186.

Пумпянский 1941 – Пумпянский Л.В. Кантемир // История русской литературы. Т. 3. М.; Л., 1941. С. 176–212.

Пумпянский 1941а – Пумпянский Л.В. Третьяковская // История русской литературы. Т. 3. М.; Л., 1941. С. 215–263.

Пумпянский 1947 – Пумпянский Л.В. Сентиментализм // История русской литературы. Т. 4. М.; Л., 1947. С. 430–445.

Пумпянский 1982 – Пумпянский Л.В. К истории русского классицизма: (Поэтика Ломоносова) // Контекст. 1982. М., 1983. С. 303–335.

Пумпянский 1983 – Пумпянский Л.В. Ломоносов и немецкая школа разума // XVIII век: Сб. 14. Л., 1983. С. 3–44.

Пумпянский 1995 – Пумпянский Л.В. Из литературного наследия // Философские науки. 1995. №1. С. 72–86.

Пушкин – Пушкин <А.С.> Полн. собр. соч. / Ред. комитет: Максим Горький и др.; Зав. редакцией В.Д. Бонч-Бруевич. Т. 1–16. <М.; Л.> 1937–1939 (Академия наук СССР).

Пыпин 1916 – Пыпин А.Н. Русское масонство: XVIII и первая четверть XIX в. Пг., 1916.

Резанов 1906 – Резанов В.И. Из разысканий о сочинениях В.А. Жуковского. СПб., 1906.

Ржевская 1871 – Памятные записки Глафиры Петровны Ржевской // Русский архив. 1871. Кн. 1. № 1. Ст. 1–52.

Роллен 1749–1762 – Древняя История об Египтянах, о Карфагенянах, об Ассирианах, о Вавилонянах, о Мидянах, Персах, о Македонянах и о Греках: Сочиненная чрез Г. Роллена, бывшего Ректора Парижского Университета, Профессора Элоквенции и прочая: А ныне с французского переведенная чрез Василья Третьяковского, Профессора Элоквенции и

Члена Санктпетербургския Императорския Академии наук. Т. 1–10. СПб., 1749–1762.

Роллен 1789 – Способ, которым можно учить и обучаться словесным наукам: Сочинен Г. Ролленом, а с Французского на Российский язык переведен Иваном Крюковым / Вторым тиснением. Ч. 1–8. СПб., 1789.

Рукою Пушкина 1935 – Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты: Подготовили к печати и комментировали М.А. Цявловский, Л.Б. Модзалевский, Т.Г. Зенгер. Academia, М.-Л., 1935.

Савицкий 2006 – Савицкий С. Спор с учителем: начало литературного / исследовательского проекта Л. Гинзбург // Новое литературное обозрение. 2006. № 82. С. 129–155.

Сен-Мартен 1785 – О заблуждениях и истине, или Воззвание человеческого рода к всеобщему началу знания: Сочинение, в котором открывается Примечателям сомнительность изысканий их и непрестанные их погрешности, и вместе указывается путь, по которому должно бы им шествовать к приобретению Физической очевидности, о происхождении Добра и Зла, о Человеке, о Натуре вещественной, о Натуре невещественной, и о Натуре священной, об основании политических Правлений, о власти Государей, о правосудии Гражданском и Уголовном, о Науках, Языках и Художествах: Философа не известного: Переведено с Французского Иждивением Типографической Компании. М., 1785.

Серков 2001 – Серков А.И. Русское масонство: 1731–2000: Энциклопедический словарь. М., 2001.

Сиповский 1903 – Сиповский В.В. Из истории русского романа и повести: (Материалы по библиографии, истории и теории русского романа): Ч. 1: XVIII век. СПб., 1903.

СИ – Словарь Исторический, или Сокращенная Библиотека, заключающая в себе деяния: Патриархов, Царей, Императоров и Королей <...>. Ч. 1–14. М., 1790–1798.

СК – Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века: 1725–1800. Т. 1–5. М., 1961–1967.

Сказания 1891 – Сказания о роде князей Трубецких / Издание княгини Е.Э. Трубецкой. М., 1891.

СК – Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века: 1725–1800. Т. 1–5. М., 1961–1967.

Соколов 1955 – Соколов А.Н. Очерки по истории русской поэмы XVIII и первой половины XIX века. <М.,> 1955.

Соловьев – Соловьев С.М. История России с древнейших времен / второе издание. Кн. 1–7. Т. 1–25. СПб., 1897.

СОРС – Собрание образцовых Рус<с>ких сочинений и переводов в стихах. Изданное Обществом любителей Отечественной Словесности / Издание второе, исправленное и умноженное и содержащее Историю Словесности древних и новых народов, правила Словесности вообще и каждого рода Красноречия и Поэзии в особенности. Ч. 1–6. СПб., 1821–1824.

Старикова 1983 – Старикова Л.М. Новые документы о первых русских актерах братьях Федоре и Григории Волковых // Памятники культуры: Новые открытия. Письменность, искусство, археология. Ежегодник: 1981. Л., 1983. С. 171–181.

Старк 2000 – Старк В.П. Пушкины и Сумароковы // Известия Русского генеалогического общества. Вып. 11. СПб., 2000. С. 25–29.

Степанов 2010 – Степанов В.П. Сумароков // Словарь русских писателей XVIII века: Вып. 3 (Р-Я). СПб., 2010. С. 184–199.

Стихотворная комедия 1990 – Стихотворная комедия. Комическая опера. Водевиль конца XVIII – начала XIX в.: В 2 т. / Вступительная статья, биографические справки, составление, подготовка текста и примечания А.А. Гозенпуда. Л., 1990 (Библиотека поэта: Большая серия).

Стрекалов 1837 – Стрекалов Н. Очерк русской словесности XVIII столетия. М., 1837.

Сумароков – Полное собрание всех сочинений, в стихах и прозе, покойного Действительного Статского Советника, Ордена Св. Анны Кавалера и Лейпцигского Ученого Собрания Члена, Александра Петровича Сумарокова: Собраны и изданы, в удовольствие Любителей Российской Учености Николаем Новиковым, Членом Вольного Российского Собрания при Императорском Московском Университете. Ч. 1–10. В Москве, 1781–1782.

Сумароков 1759 – С.<умароков> А.<П.> Сатира // Трудолюбивая Пчела. 1759. Сентябрь. С. 561–567.

Сумароков 1759а – С.<умароков> А.<П.> О некоторой заразительной болезни // Трудолюбивая Пчела. 1759. Ноябрь. С. 687–692.

Сумароков 1763 – С.<умароков> А.<П.> Ода к М.М. Хераскову // Свободные часы. 1763. Март. С. 172–173.

Сумароков 1771 – Димитрий Самозванец: Трагедия Александра Сумарокова: Представлена в первый раз в 1771 году Февраля 1 дня на Императорском театре, В Санктпетербурге.

Сумароков 1774 – Стихотворения духовные. <СПб., 1774.>

Сумароковы 1870 – Сумароковы графы и дворяне // Всемирная иллюстрация, 1870. Т. 3. № 89. С. 639.

Творогов 1995 – Творогов О.В. Херасков Михаил Матвеевич // Энциклопедия «Слова о полку Игореве»: В 5 т. Т. 5. СПб., 1995. С. 178–179.

Тимковский 1874 – Тимковский И.Ф. Записки: Мое определение в службу: Сказание в трех частях: (Писано в 1850 году) // Русский архив. 1874. № 6. Ст. 1377–1466.

Топоров – Топоров В.Н. Из истории русской литературы: Т. 2. Русская литература второй половины XVIII века: Исследования, материалы, публикации. М.Н. Муравьев: Введение в творческое наследие. Кн. 1–3. М., 2001–2007.

Торжествующая Минерва 1763 – Торжествующая Минерва, общенародное зрелище, представленное большим маскарадом в Москве 1763 года, генваря дня. <М.:> Печатано при Московском университете.

Третьяковский 1759 – Т.<ретьяковский> В.<К.> О Мозаике // Трудолюбивая Пчела. 1759. Июнь. С. 353–360.

Третьяковский 1766 – Тилемахида или Странствование Тилемаха Сына Одиссея описанное в составе Ироическия Приимы Василием Третьяковским Надворным Советником Членом Санктпетербургския Императорския Академии Наук с Французския нестихотворныя речи Сочиненныя Франциском де-Салиньяком де-ла-Мотом Фенелоном Архиепископом Дюком Камбрейским Принцем Священныя Империи. Т. 1–2. СПб., 1766.

Третьяковский 1851 – Просьба Третьяковского в Сенат // Москвитянин. 1851. № 11. С. 227–236.

Третьяковский 1989 – Vasilij Kirillovič Trediakovskij: Psalter 1753: Erstausgabe. Besorgt und kommentiert von Alexander Levitsk; herausgegeben von Reinhold Olesch und Hans Rothe. Paderborn; München; Wien; Zürich, 1989 (Biblia Slavica: Serie 3: Band 4/b).

ТП – Трудолюбивая Пчела. В Санктпетербурге, 1759.

Тынянов 1927 – Тынянов Ю.Н. Ода как ораторский жанр // Поэтика: Сборник Статей. Л., 1927 (Временник Отдела словесных искусств: <Вып. > 3). С. 102–128.

Успенский 1995 – Успенский Б.А. Язык Державина // Лотмановский сборник <Вып.> 1. М., 1995. С. 334–352.

Фенелон 1782 – Похождение Телемаково сына Улиссова, сочинено Г. Фенелоном учителем детей Короля Французского, бывшего потом Архиепископом Камбрийским и Князем Римской Империи: Переведено на Российский язык в 1734 году: Напечатано третьим тиснением. Ч. 1–2. СПб., 1782.

Фомин 1912 – Фомин А.Г. Андрей Иванович Тургенев и Андрей Сергеевич Кайсаров: Новые данные о них по документам архива П.Н. Тургенева // Русский библиофил: Иллюстрированный вестник для собирателей книг и гравюр. 1912. № 1. С. 7–39.

Фонвизин 1866 – Фонвизин Д.И. Соч., письма и избранные переводы / Редакция изд. П.А. Ефремова. СПб., 1866.

Фонвизин – Фонвизин Д.И. Собр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1959.

Херасков – Творения М. Хераскова, вновь исправленные и дополненные. Ч. 1–12. [М., 1796–1803].

Херасков 1758 – Венецианская Монахиня. Трагедия. Михайла Хераскова, печ. при Имп. Моск. ун-те. <М.,> 1758.

Херасков 1760 – Херасков М.М. К сатирической Музе // Полезное увеселение. 1760. Февраль. № 8. С. 89–92.

Херасков 1761 – Плоды наук<,> поэма Михайла Хераскова. Печатана при Императорском Московском университете, сентября дня 1761. <М., 1761.>

Херасков 1763 – Ода Всепреспетлейшей Великой Государыне Императрице Екатерине Алексеевне, Самодержице Всероссийской, которую в день Высочайшего Рождения Ея Императорского Величества, именем Московского Университета, подносит Михайла Херасков. Печатана при Императорском Московском университете. <М., 1763.>

Херасков 1767 – Ода Всепреспетлейшей, Державнейшей, Великой Государыне Императрице Екатерине Алексеевне, Самодержице Всероссийской, на Высокоторжественный день рождения Ея Величества, случившейся пред отбытием Всемилоствивейшей Государыни из Москвы в Казань 1767 года, апреля 21 дня, которую приносит Именем Московского Уни-

верситета Михаила Херасков. Печатана при Императорском Московском университете. <М., 1767.>

Херасков 1770 – Ода Всепресветлейшей Великой Государыне Екатерине Алексеевне, Императрице и Самодержице Всероссийской, на торжественную победу при городе Чесме над Турецким флотом, которую приносит Михаила Херасков. Печатана в Санктпетербурге 1770 года.

Херасков 1771 – <Херасков М.М.> Чесмесский бой: Поема. Печатана при Императорской Академии наук. <СПб.,> 1771.

Херасков 1779 – Россияда: Ироическая Поема. Печатана при Московском университете 1779 года.

Херасков 1786 – Россияда, Поэма Эпическая / Издание второе, исправленное, пересмотренное и дополненное. М., 1786.

Херасков 1786–1787 – Эпические творения Михаила Хераскова, Действительного Статского Советника, ИМПЕРАТОРСКОГО Московского Университета Куратора, Российской Академии Члена. Ч. 1–2 / Издание второе, исправленное, пересмотренное и дополненное. М., 1786–1787.

Херасков 1787 – Ненавистник, Комедия в трех действиях. Михаила Хераскова. В первый раз представлена на Императорском придворном Российском театре в Июле месяце 1779 года, в Санктпетербурге // Российский Феатр или Полное собрание всех Российских Феатральных сочинений. Ч. 9. В Санктпетербурге, 1787 года. С. 39–120.

Херасков 1791 – Херасков М.М. Время // Московской журнал. 1791. Ч. 1. Кн. 1. С. 7–9.

Херасков 1794 – <Херасков М.М.> Полидор, сын Кадма и Гармонии. Ч. 1–3. М., 1794.

Херасков 1796 – Херасков М.М. Добродетель // Аониды, или Собрание разных новых стихотворений. Книжка 1. М., 1796. С. 1–7.

Херасков 1797 – Херасков М.М. Размышление о Боге // Аониды, или Собрание разных новых стихотворений. Книжка 2. М., 1797. С. 1–14.

Херасков 1803 – <Херасков М.М.> Бахарияна, или Неизвестный. Волшебная повесть, почерпнутая из русских сказок. М., 1803.

Херасков 1933 – «Рассуждение о российском стихотворстве»: Неизвестная статья М.М. Хераскова / Публикация П.Н. Беркова // Литературное наследство. Т. 9–10. М., 1933. С. 287–294.

Херасков 1961 – Херасков М.М. Избранные произведения / Составление, вступительная статья и комментарии А.В. Западава. М.; Л., 1961 (Библиотека поэта: Второе издание).

Хмыров 1867 – Хмыров М.Д. Графиня Екатерина Ивановна Головкина и ее время: (1701–1791 года): Исторический очерк по архивным документам. СПб., 1867.

Чистович 1868 – Чистович И.А. Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868.

Шереметевский 1901 – Шереметевский В.В. Князь Никита Юрьевич Трубецкой // Сборник биографий кавалергардов: <Т. 1:> 1724–1762. СПб., 1901. С. 139–156.

Ширинский-Шихматов 1806 – Опыт о Критике: Поэма в трех песнях: Творение Г.<осподина> Попа: С Англинского языка перевел Князь Сергей Шихматов. СПб., 1806.

Шишкин 1989 – Шишкин А.Б. Судьба «Псалтири» Третьяковского // Третьяковский 1989. С. 519–535.

Шувалов 1861 – Письма И.И. Шувалова // Библиографические записки. 1861. Т. 3. № 12. С. 352–355.

Шумигорский 1892 – Шумигорский Е.С. Императрица Мария Феодоровна (1759–1828): Ее биография. СПб., 1892.

Языков 1885 – Языков Д.Д. Новые материалы для биографии А.П. Сумарокова // Исторический вестник, 1885. Т. 20. № 5. С. 442–447.

Bartlett 1890 – Bartlett, John. Familiar Quotations being an Attempt to trace in their Sources: Passages and Phrases in common use / Eight edition. Boston, 1890.

Dryden 1692 – All for Love, or, The World Well Lost. A Tragedy. As it is Acted at the Theatre-Royal. And Written in Imitation of *Sakespear's* Style. Written by Mr. Dryden. In the Savor, 1692.

Dryden 1696 – All for Love, or, The World Well Lost. A Tragedy. As it is Acted by His Majesties Servants; and Written in Imitation of *Sakespear's* Style. Written by Mr. Dryden. London, 1696.

Dryden 1710 – All for Love, or, The World Well Lost. A Tragedy. Written in Imitation of *Sakespear's* Style, By Mr. Dryden. London, 1710.

Dryden 1735 – The Dramatic Works of John Dryden: In Six Volumes. London, 1735.

Dryden 1740 – All for Love, or, The World Well Lost. A Tragedy. Written in Imitation of *Sakespear's* Style, By Mr. Dryden. London, 1740.

Dryden 1768 – All for Love, or, The World Well Lost. A Tragedy. By Mr. Dryden. To wich is prefixed The Life of the Author. Edinburgh, 1768.

Dryden 1778 – All for Love, or, The World Well Lost. A Tragedy. At it is Acted at the Theatres-Royal in Drury-Lane and Covent-Garden. By Mr. Dryden. To wich is prefixed The Life of the Author. London, 1778.

Edwards 1872 – Edwards, Tryon. Pearls; or, The World's Laconics: Being choise Thoughts of the brst Authors, in Prose and Poetry. Boston, 1872.

Grocott, J.C. An Index to Familiar Quotations selected from British Authors with parallel passages from various Writers Ancient and Modern. Liverpool, 1863.

Pope 1787 – The Poetical Works of Alexander Pope, with his last corrections, additions, and improvements: In four volumes: From the Text of Dr. Warburton: With the Life of the Author. London. 1787.

Научное издание

Дмитрий Павлович Ивинский

М.М. ХЕРАСКОВ
и русская литература
XVIII – начала XIX веков

Ответственный редактор — Колесниченко В.Р.
Корректор — Комарова И.В.
Компьютерная верстка — Колесниченко В.В.

Подписано в печать 27.11.2018 г. Печать офсетная. Бумага офсетная.
Гарнитура Minion Pro. Формат 60×90 1 / 16. Объем 13,5 усл. п.л.
Тираж 300 экз. Заказ №
Сайт издательства: www.rvalent.ru,
e-mail: rvalent@yandex.ru.



Дмитрий Павлович Ивинский – доктор филологических наук, профессор филологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, специалист по истории русской литературы, автор книг и статей о жизни и творчестве М.В. Ломоносова, И.А. Крылова, Н.М. Карамзина, П.А. Вяземского, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя и др.

